

В. С. ЯНОВСКИЙ

АМЕРИКАН- СКИЙ ОПЫТ



Издательство
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

В. С. ЯНОВСКИЙ

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

Р О М А Н

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
НЬЮ-ЙОРК • 1982

ЯНОВСКИЙ, Василий Семенович.
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ. Роман.

YANOVSKY, Vasily Semyonovich.
AMERICANSKY OPIT. (American Experience).

Library of Congress Catalog Card Number: 82-60171.
ISBN: 0-940294-09-5.

Copyright © 1947, 1982 by V.S. Yanovsky

И. М. ЯНОВСКОЙ



I am but mad north-north-west.

Hamlet

1. Крик из ванной

Ночью, Боб Кастэр проснулся. Ему было жарко и неудобно. «Кажется простудился» — попробовал нащупать пульс, но тупое отчаяние окатило его всего, пригвоздило: вспомнил, — Сабина, очередная ссора. Не первая, не последняя, еще встретятся, помирятся, потом опять... одно ясно: не любит. Во всяком случае, не так, как способна, как любила тех, — до него. В горло возвращалась спазма: комок, точно кусок, застрявшего яблока. «Ах, все равно, все равно, — шептал он, лихорадочно отмахиваясь от назойливых догадок, воспоминаний, образов: — Пусть конец. Скорее конец». Там, в другом центре города, — Greenwich Village, — вероятно давно уже, уснула Сабина. Если подойти к телефону и отщелкать Грамерси 9 и четыре цифры, то через минутку раздастся ее глубокий (не грудной), полный значимости и неосознанной радости, голос: — Алло, — слегка насмешливое и дружеское. — Как хорошо что ты позвонил... Но все это ни к чему. Есть некий, основной, порок и в их отношениях. Словно проклятые. Она его не любит. Смешно и глупо. Боб Кастэр проделал полторы войны. Был женат и, возможно, отцом ребенка. А сейчас он занят любовью: пресный, малоубедительный напиток, — молоко для младенцев. «Я глажу, ласкаю это имя», — сказала Сабина. Совсем недавно. Он ей подарил свою брошюру, посвященную музеям Испании. По телефону, она говорила: «Роберт Кастэр... Я глажу, ласкаю это имя»... А при встрече: «Бывают минуты, когда я

даже не замечаю твоего присутствия». И они разругались. Зачем она это сказала? Он ведь не спрашивал. Но раз так, он не мог примириться, должен был ответить. «Ах, пусть это уже кончится, все равно»... шептал Боб и принимался дышать по особому способу: глубоко, задерживая надолго воздух, борясь с докучливой спазмой в пищеводе. Потом он думал о войне, о Европе, о врагах. Эта война началась в Испании... Боб Кастэр заметно погрузился в тяжелый, мрачный, не дарящий покоя, сон.

Как всегда, по воскресным дням, он проснулся рано. В будни, часы вырывали его, звонком, из недр сладчайшего забвения. Мнилось: поспать бы еще хоть 5 минут, — вот счастье. Но в праздник, когда время принадлежит человеку, он пробуждается с регулярностью лунатика, в урочное, рабочее время.

Попробовал снова задремать: устроился поудобнее, съехался под одеялом, лег на другой бок, — но это не помогало. А в окно упал вдруг луч холодного ноябрьского солнца. Золотистая прядь, — в сумраке горницы, — напомнил Бобу Кастэру детство. Тогда за окном раздавались звонкие крики ребят, замышляющих новую проказу: надо спешить, — одеться, поесть, — чтобы успеть примкнуть к ним. «Нет, жить еще можно» — бодро стукнуло сердце. Почувствовав неожиданный прилив энергии, он вскочил и голый пробежал в крохотную ванную. Пустив горячую воду из крана, Боб Кастэр, прежде чем приняться за утренний туалет, по обыкновению, глянул в зеркало. Тогда раздался его крик. Страшный, животный, испуганный, — изумленного, подбитого зверя.

Было 8 часов 10 минут. Хозяйка квартиры, Этель Линзбург, стряхивала пыль в прихожей с больших стенных часов. В это время из комнаты Боба Кастэра донесся придушенный, затяжной, скорбный стон, будто испускающего дух, скота. Преодолев весьма понятный испуг, Этель, осторожно постучала в дверь и крикнула:

— М-р Кастэр, что с вами, вы больны? — она при-

ехала в Америку из уголка, где постоянно хворали; кроме того, единственный сын ее утонул, а муж недавно сбежал. Вот почему она, кстати и не кстати, с гордостью всегда повторяла: «меня ничем не удивишь, я Маринована в несчастьях».

Жилец не отзывался. Этель снова постучала:

— М-р Кастэр, М-р Кастэр, вам может быть дурно?

Тогда раздался голос Боба, ломающийся, растерянный:

— Ничего, Миссис Линзбург, уверяю вас, я порезался бритвой, к тому же, я себя плохо чувствую.

Это обрадовало хозяйку:

— Я вам дам карлсбадскую соль!

— Спасибо, Миссис Линзбург, я думаю, воспользоваться свободным временем и сходить к доктору.

— У меня есть камень останавливающий кровотечение, муж им всегда пользовался! — обычно, после упоминания о муже, следовало: «Ему захотелось молоденькую девицу, вот он теперь имеет молоденькую девицу».

Но Боб Кастэр ей не дал развернуться:

— Пожалуйста, Миссис Линзбург, мне ничего не надо. Погода кажется отличная, — и считая беседу оконченной, он демонстративно хлопнул дверью ванной.

«Какой невежда», — хозяйка горько покачала головою. Всю жизнь ее удивляла грубость людей, их неспособность оценить тяготенья доброй и бескорыстной души.

Хлопнув дверью, Боб Кастэр, снова подошел к зеркалу и с вытаращенными от изумления глазами, начал мучительно и старательно себя изучать. Он ощупал за чем то лицо, высунул язык, заглянул в горло, освидетельствовал руки, ноги, надолго застрял у низа живота. Сомнения не было: он гладил, щипал, мял свое тело, подставляя различные части ближе к свету. Даже в глазах появилась, — новая, гневно зеленая искра. «Это кошмар. Это, это, это»... он не знал что подумать и толь-

ко беспомощно озибался по сторонам. «Надо звонить, телеграфировать, бежать. Надо действовать». Куда, зачем... Тайна. Одно только ясно: стряслась беда. Неправимая, единственная в своем роде. То к чему всю жизнь, молодость, он рвался, свершилось. Только с противоположным знаком. Он готовился к исключительной судьбе, победе, славе. Все осуществилось в обратном направлении. Оригинальная катастрофа, непоправимое поражение, загадочное горе решительное и страшное. Если-б он ослеп, потерял ногу, руку, сознание, умер наконец, — все проще! «Умер? Нет. Умер — нет. Только не смерть. Тогда, действительно, конец!» — рванулась душа и Боб Кастэр с радостью отметил: она еще жива. «Голыми руками меня не возьмешь!» Он вспомнил слова любимого поэта: «Бог меня хранит для неведомого часа»... Неужели сюда Господь его вел чрез все мытарства, опасности, искушения? «Я не хочу этого, именно этого я боюсь». Ему стало жаль себя. Захотелось ласковых слов, сочувствия, внимания. «Сабина, — вспомнил, сладостно переводя дух. — Один взмах ее ресниц стоит всей вашей благополучной жизни». Что если позвонить. Только голос. Какая радость: он обязан забыть будничные раздоры. Они друзья. Как ни странно, Бобу Кастэру почудилось, что Сабина может дать дельный совет. Это кошмар, это умопомрачение» — снова проверял он себя в зеркале. И свет: сейчас он услышит ее аккуратный, четкий, и в то же время таинственный, недоговаривающий, закругленный, затушеванный, глубокий (синий), голос.

Звонить можно было только из коридора. Тщательно одевшись, обмотав лицо шарфом, подняв воротник пальто и нахлобучив шляпу, он выглянул из своей комнаты.

— Я не одет, Миссис Линзбург, — предусмотрительно крикнул он.

— Хотите горячего чая с тостом? — отозвалась

хозяйка, быть может из щели в половицах: — Это хорошо в вашем состоянии.

«Откуда они знают что хорошо и что дурно», — заскрежетало в нем. Ответил: — Нет, нет, Миссис Линзбург, спасибо, все обойдется.

На трюмо, в узком, темном коридоре, стоял телефон, и вид этого неказистого, крохотного аппарата, наполнил сердце Боба Кастера нежностью и болью: свидетель, соучастник, проводник их бурного счастья, открытий и хакири.

«Я тебя разбудил?

— Нет. Нет, — сказала Сабина.

За 6 месяцев этой тревожной связи, им случалось звонить друг другу в самое несуразное время дня и ночи, а ответ всегда гласил: не помешал, не помешала, не разбудил, не разбудила... Это не было ложью.

— Мне необходимо тебя повидать, — объяснил Боб.

— Что, неприятности? — опять знакомые, грудные, жаркие, завуаленные нотки.

— Не совсем, я сам еще хорошенько не разобрался. Нам следует поболтать, — и желая подчеркнуть, что речь идет не о вчерашнем: мелочь, обида... добавил, — милая, ненаглядная!

— Да? — отозвалась она удивленно и радостно. Он знал: Сабину могла восхитить одна память о таких словах, независимо от того к кому они обращены. — Понимаешь, ко мне неожиданно приехала сестра с мужем. В 2 часа они уходят. Приезжай когда хочешь, но поговорить удастся только после двух. Если бы вчера...

— Забудем о вчерашнем! — великодушно предложил он (сколько раз Сабина это говорила). Теперь она откликнулась так:

— Да, только я немного устала.

— Дорогая.

— Да...

— Скажи чтонибудь.

— Да... — и после бездарного молчания: — Жду тебя к двум часам.

В обычное время, уклончивый ответ, считался достаточным поводом для разрыва отношений. Боб Кастэр вцепился в облупленную телефонную трубку. «Нет, это кошмар, это невозможно осмыслить», — беззвучно шептал он, разглядывая свою руку; и к Сабине: — Да. Да, жди меня к двум.

Натянув перчатки, укутав лицо, еще ниже надвинув шляпу, — точно у него флюс или нечто подобное, — он незаметно выскользнул на улицу: понесся вниз по *Riverside Drive* в сторону 96 улицы. Пройдя несколько кварталов по безлюдной, подметаемой океанским ветром, мокрой, со следами недавнего снега, набережной, он повернул в сторону Бродвея.. Подумал: собственно, здесь его никто не знает, можно снять безобразную шляпу, нелюбимые перчатки, выпрямиться... Но это значило, до какой-то степени, на долю, примириться, хотя бы внешне уступить. «Нет, я не для компромиссов, — решил: — пока еще не сдаюсь».

Вид у Боба Кастэра был странный и не внушающий доверия: подобно человеку-невидимке, по Уэльсу. Редкие прохожие удивленно его оглядывали и боязливо сторонились.

Не хватало мелочи, а менять 5 долларов не соглашались в первом табачном магазине; в следующем не было *Camel*, а сдачу он получил серебром и никелями. Эти мелкие осложнения являлись не случайностью, показывая Бобу Кастэру трудности предстоящей борьбы: где всё и все, ничтожное и крупное, выступят против него одного.

По началу он решил побывать у доктора после визита к Сабине, но обнаружилось, что времени впереди, — прорва... а сидеть в людном месте казалось невыносимым. Наскоро закусив и выпив кофе, причем для этого понадобилось все же снять перчатки и распутать кашнэ («так, по частям, по частям, собака»), — он, идя

по линии наименьшего сопротивления, позвонил Поркину, который уже пользовал Боба Кастера от предполагаемой *atlet's foot*.

2. Визит к врачу

Доктор Поркин не принимал по воскресеньям. Но к телефону подошла его жена, Анита: ее, супруг, так и не смог научить отказывать клиентам, хотя бы в праздник, — она не считала работу врача утомительной. После нескольких жеманных фраз и вопросов, она разрешила Бобу Кастеру явиться на прием.

Прошлой ночью, Рут, единственный отпрыск Поркиных, вернулась домой в два часа, — а лет ей всего 15! Ранним утром, отец уже приступил к допросу, тщетно стараясь добиться исчерпывающих объяснений. Сопоставляя противоречивые данные, он медленно и неуклонно доказывал жене, что дочь их лжет и растет без призора.

— Ах, оставь ее в покое! — вспыхнула вдруг Анита: — Пусть хотя бы она живет и не жалеет потом об упущенном.

Это взорвало Поркина.

— Ты, ты упускала возможности? Отказывалась от чегонибудь? Я жизнь свою погубил из-за вас, а ты смеешь еще упрекать...

Это соответствовало только частично истине. Доктор Поркин пожертвовал своим главным призванием и растратил себя в холостую по целому ряду причин, из коих некоторые совсем не подавались учету. Вообще, когда он сравнивал свою судьбу с участью знакомых или друзей, то выходило, что ему, Поркину, еще повезло. Если его жизнь не удалась, то другим и подавно.

Доктор Поркин получил свой диплом в России; очень увлекался врачебной и научной деятельностью: казалось, широкие дороги ведут во все стороны, — шагай только, плыви! Вынужденный эмигрировать, он, в

Америке, сразу пустил крепкие корни, быстро переучился и наладил успешную практику. Но тут явились соблазны: ему предложили место врача при Юнионе. Крупное жалование, премии, награды. Он польстился на этот большой, ежегодный, обеспеченный куш и превратился в чиновника, политика, зависящего от правления, выборов и прочих интриг. Частные клиенты разбежались и хотя эти последние имели свои недостатки, но теперь, Поркин, вспоминал о том времени как о желанном и осмысленном. После, — все пошло прахом: здоровье, молодость, любовь к жене (Вот дочь растет, — явно безобразно).

В разгаре самых горьких воспоминаний, жена сообщила Поркину, что старый его больной срочно нуждается в помощи и сейчас будет на приеме. В другое время это бы обрадовало Поркина, дорожившего частными пациентами, но теперь он не удержался и при дочери, бросил:

— Жаднюга, итальянская!

Когда Боба Кастэра ввели в кабинет, его встретил доктор, прикрытый улыбками, олимпийским величием, белыми хламидами и прочими аксессуарами современной медицины, стирающими различие между Пастером и жуликоватым знахарем.

— Странно. Кастэр. В 1942 году? Странно, я не нахожу вашу карточку, — бормотал Поркин, уже небрежно развалившись в кресле.

— Скажите, — тихо спросил Боб: он стоял голый по пояс, готовый, при первом знаке врача, спустить брюки. — У вас отдельная картотека для черных и отдельная для белых?

— Негры такие же люди как и прочие расы, — нравоучительно ответил доктор.

— Я знаю, только вы классифицируете их в отдельном ящике, это я хотел спросить?

— Да, Так быстрее ориентироваться.

— Тогда поищите мое имя среди белых.

Пожав плечами, доктор отворил другой шкаф.

— Роберт Кастэр. 32 года. Вест 102 улица, — удивленно прочитал Поркин.

— Это я, — подтвердил Боб.

— Итак, произошла весьма обыкновенная вещь: местное экзематозное состояние превращается в общее. Не следует запускать болезнь. В два-три месяца я исцелю вас или во всяком случае поправлю. Мы сделаем серию внутривенных инъекций. Кроме того, на ночь я вам пропишу мазь.

— Доктор, — сказал Боб Кастэр. — Я не за мазью пришел. Дело не в экзематозном состоянии. Какая обозначена раса на моей карточке?

— Ах, да, — вспомнил Поркин: — Недоразумение, — и карандашом зачеркнув слово white, приготовился начертать black...

— Не делайте этого, — угрожающе сказал пациент.

— То есть почему? — оторопел Поркин. Захлопнув дверцы шкафа, он на всякий случай шагнул назад, так что между ним и больным оказался большой, письменный стол. «Вассерман не мешает», — мелькнула мысль.

— Доктор, — волнуясь, начал Боб Кастэр: — Представьте себе дикое происшествие. К вам является человек, черный, с ног до головы, до губ, до пяток и ногтей... Он рассказывает что был вчера еще белым, клянется. Вы лично его когда то лечили! Что вы ответите? Известна ли такая болезнь? Как ее имя? Что за лечение? Наконец, может ли он надеяться вскоре снова обрести свою первоначальную окраску? Вы понимаете какие вопросы меня беспокоят?

— Так, так, отлично, — глубокомысленно повторял Поркин. Он ничего не соображал и взгляд у него был трусливый, хитрый и глупый. «Ну и воскресеньице, жена продала за пять долларов» — думал, продолжая поддакивать тем особым, профессиональным, лживо-ласковым голосом, присущим докторам, иногда даже артистам своего дела. Так проститутки подмигивают и безобраз-

но вихляют задом, во всех странах на один манер. — Ваша кожа несколько потемнела, стала грубее, объяснение в патологии болезни: перерождение эпидерм. Я думаю, лучше всего обратиться в больницу. Я дам записку. Они имеют отделение приспособленное для вашего недуга...

Боб хотел возражать, спорить и вдруг лицо его исказилось от боли и возмущения: свет опостылел. Он разглядел против себя красного, громоздкого, плешивого человека с тупым, хитрым и трусливым лицом: не злой и жадный. Что он ему? Зачем Боб пришел сюда? Совет такого? Да Поркин сам несчастен и нуждается в руководстве. Оставив на бюваре деньги, он брезгливо морщась, словно проглотив ложку касторки, выбежал из кабинета.

В коридоре ему навстречу скользнула еще молодящаяся, поблекшая женщина, с крашенными волосами; она собрала свое жирное, неудовлетворенное тело и на мгновение подставила, предложила Бобу, но тотчас же разочарованно отпрянула. В большом трюме он увидел себя: нечто темное и чужое, — до смешного, до бунта. «Где кашнэ, куда засунули, чорт с ним!» — не стоило расспрашивать, еще хоть на минуту задержаться в этом доме!

Прислуга, черная коренастая девка, заговорщически сверкнула белками, фамильярно подмигнула, пропуская его в не совсем распахнутую дверь. «Люди живут во лжи, привыкли к ней и когда встречаются с фактами действительности, то просто отвергают их, не признают», — Боб закурил папиросу и машинально вздохнул: незнакомая марка... и тотчас же злобно оскалился. «И это ложь, уже его личная: он совсем не так любит Camel».

3. Снег

На прошлой неделе выпал снег. В городе он успел

завянуть, стоять, свернуться, под звон и грохот машин. Но в Central Park'е снег еще лежал уплотненный, чистый, задумчивый. Сад преобразился, наконец, покаявшись, вернулся к своему детству, заснул, остановился. Звуки и краски ложились глуше и тусклее, будто сквозь завесу, пелену: не рядом, не тут, а соседняя, потусторонняя реальность! Синевато искривленный мир, пышный, замороженный.

Музейными саркофагами грезилась по краям небоскребы, окаймляющие царственно пустынный парк. Не сад походил на кладбище, а город обрамляющий его: ни звука, ни вибрации, — все заглохло, умерло. Две, три, аллеи были расчищены, но боковые тропинки так и лежали, непроницаемые, со следами одиноких прохожих, неуспешно пытавшихся преодолеть эту податливую гладь. Шагать по целине было трудно и потому, непосредственная борьба эта, доставляла Бобу Кастэру знакомую, — давно забытую, — усладу. Он шибко брел, с наслаждением волоча ноги по пушистому, голубоватому снегу, ветер бил в лицо, — Боб снял шляпу, подставляя непокорную голову бешеным порывам океанского вихря. Лицо покраснелось, заулыбалось: дыша всей грудью, он невольно запел.

И вдруг, спереди, заюлило на снегу, темное, живое пятно: щенок. Боб Кастэр обрадовался ему как родному, близкому творению, — на другой планете: с такой нежностью человек бы приветствовал земного клопа или глиста, на Марсе! Боб подался в сторону пса, но тот начал улепетывать и залаяв стреканул в кусты. И вот поляна, озаренная не солнцем, а светом, — субстанцией, эссенцией света, — и посередине: девочка, белокурая, с локонами по плечо, одетая празднично, однако не совсем по сезону. Она держала щенка, пытавшегося снова вырваться и не сразу заметила Боба. Улыбаясь ей как видению, Боб приблизился и спросил:

— Откуда ты?

Девочка молчала. Он спросил знает ли она, где жи-

вет: там, там, там?.. По внешности ей можно было дать лет 6-7. Раз она кивнула головою: восточная сторона. Боб взял ее за руку и повел; девочка доверчиво пошла рядом, даже щенок, обрадованный присутствием взрослого, разумного существа, послушно заковылял, не отставая. Идти было трудно, ноги ежеминутно проваливались, ветер бешено задувал, открытые туфельки девочки явно не годились для такого путешествия. Спросив еще раз, безрезультатно: — Как ты сюда забралась... Боб взял ее на руки и размашисто зашагал целиной к East Side. Собака бежала жалобно подвывая.

Там, за кустами, оказалась тропинка, мелькнули столбики широкой аллеи, — и вот уже автомобильная дорога. Бесшумно застопорив, возле них остановилась полицейская машина.

— Я нашел ее в снегу, она говорит, что живет на East Side, — улыбаясь объяснил Боб, вытирая со лба пот.

— Лезьте в машину, — приказал полицейский за рулем. Потеснившись, они все уселись: девочка на коленях у второго полицейского, собака на руках у Боба.

У ближайшего участка шоффер затормозил:

— Пса оставьте здесь, — посоветовал он.

Боба ввели в одну комнату, затем в следующую: обыкновенная контора и все же чувствовалось, — полиция! По запаху, по воздуху, по ткани окружения. Пришлось ждать довольно долго пока вышел седой, бритый джентльмэн, атлетического сложения.

— Повторите ваши показания, — предложил он и занялся трубкой.

Боб, уже несколько рассерженный, повторил свой рассказ. Офицер сверял что-то по записи.

— Ваше имя? Фамилия? Возраст? Адрес? Место рождения?... — смолк, рассеянно пуская клубы дыма.

Вошел другой полицейский, они, шопотом, обменялись несколькими фразами. Была ли это справка о Бобе Кастэре или о девочке... только офицер сказал:

— Отлично. Я могу вас отпустить. Подпишите пожалуйста это...

Боб бегом пробежал взглядом уже отпечатанные на машинке строки собственного свидетельства.

— Я не могу подписать. По совести не могу, — сказал Боб Кастэр.

— Почему?

— Тут обозначено, что я черной расы. Я не черный, я белый. Мой отец француз, а мать русская.

— Но у вас темная кожа...

— Цвет в данном случае ничего не обозначает. Моя кожа только сегодня потеряла первоначальную белизну: она была подобна вашей. Болезнь или другое недоразумение, не знаю!

— Но этого для нас достаточно...

— Я протестую, — упрямо заявил Боб Кастэр: — у меня имеются свидетели!

— Может быть вы говорите правду, — рассудительно начал офицер: опытный и мудрый чиновник. — Может быть вы врете или пьяны или взбесились, но это бесполезно, ибо выходит за пределы моей компетенции. Вы знаете что перед законом негр равен белому, мы все сотворены одним Богом, Отцом.

— Да, все люди братья, — невесело улыбнулся Боб.

— Вот что, сегодня воскресенье. Я не вижу причин с вами спорить. Мы отметим, что вы считаете себя белым хотя выглядите негром, такое вы сможете подписать?

Боб согласился и сопровождаемый непроницаемыми взглядами полицейских выскользнул наружу. И снова миниатюрная бесконечность, — снежная, полярная, безгрешная. Деревья пухлые, печальные стояли, сосредоточенные, прислушиваясь к внутреннему голосу, будто осознавая свои тайные грезы и возможности. Время от времени, порыв ветра (подобно страшной мысли), сотрясал их до основания: они судорожно вздрагивали, тщась сорваться с места, побежать. «Вообразить себе мир

с бегущими деревьями, — подумал Боб: — по земле, по воде!»

4. Сабина

Сабина жила в новом, несколько смешном, доме на 10-м этаже. Из соображений конспирации, Боб поднялся наверх по лестнице, — выждав время когда лифт с холодом уплыл в небытие.

Обыкновенно, дожидаясь его, Сабина отпирала дверь, так что ему не приходилось звонить и стоять в коридоре. Из ванной доносился шум открытых кранов.

— Это ты! — крикнула она своим полным тайной радостью голосом: — Я сейчас.

Он прошелся несколько раз по диагонали большой студии; в окно, — чрез всю стену, — виднелись крыши соседних зданий, угрюмые, прокопченные. Внизу: *Sheridan Square*, — там снег покрыл скамьи и карликовые деревья, как на рождественских открытках. Ветер будто утомился: в комнате было тихо и жарко. Он вспомнил: почти целый день не ел и, — на ногах. День подобный страшному сну. Конечно, нельзя сдаваться, но трудно, трудно. Кто ему поможет. Сабина. «Великая и страшная борьба ждет человеческую душу». Философ разумеет смерть. Но это может быть и другая форма потери личности, медленное или внезапное скольжение вниз, в сторону. Человек умирает раньше чем предполагают. Сабина. Она целовала все его тело. Это невозможно. С теми поцелуями кончено.

Она вышла, держа полотенце в еще мокрых, обнаженных руках. Очень серьезная, торжественная. — как часто, после ссоры, когда он первый делает шаг к примирению, — словно участвуя в мистерии, приблизилась и взяла его за голову, стараясь повернуть лицо к себе. Секунду он сопротивлялся, потом уступил, все еще отводя глаза, и вдруг затрясся от ее скорбного, хриплого шопота:

— Боб, что это, Боб...

Он молчал, криво усмехаясь.

— Что это, Боб, — и тихо заплакала.

За все месяцы их знакомства, за эти мучительные, сладостные, бурные часы и дни объяснений, распрей, сцен ревности, впервые сегодня ее слезы имели разумную, понятную причину: будничные, семейные, житейские, бытовые слезы (когда брат или муж страдает от предполагаемой язвы желудка).

— Меня принимают за негра, — неизвестно зачем объяснил он.

— Расскажи подробно, что произошло? — в ее голосе зазвучали нотки любопытства и надежды.

Боб вкратце сообщил известные уже факты. Ночью плохо спал: мучительные видения, просыпался потный, в жару... А утром, — в зеркале: черномазый!

— Надо к доктору, — решила она облегченно.

— Был уже... Не верит. Считает опасным маниаком. Недуг исключительный, вообще неизвестный, не исследованный. В средние века церковь сжигала на кострах многих больных. Вот участь ожидающая меня.

— Стыдно: уже падать духом!

— Я не сдаюсь, — перебил он: — Пока ты со мной. И даже без тебя не перестану сопротивляться! Но посмотри, — он сунул ей под нос свои руки, ладони, ногти со страшной обезьянней синевой: — Только здесь белое, гляди! — освободил низ живота.

Мучительно морщась, Сабина обняла его и начала бурно, матерински, безгрешно целовать. Он сиротливо прижался: знакомое, изученное во всех впадинах тело. А в сущности, она никогда ему до конца не принадлежала. Чем легче, безрассуднее она шагала навстречу его страсти, тем неудовлетвореннее и жаднее становилась любовь души. Вот она вся в его руках, — и ускользает, ускользает... безнадежно. Ребенок бежит за птицей, накрывает ее, но это тень: птицы нет, может она в небесах. Чем плотнее они подходили к последней грани, от-

деляющей два существа, тем сильнее, — словно в наказание, — их отбрасывало... и в сердце только пустота и боль. Близко, близко, рядом лежит человек, но не пробьешься к нему: что под этой кожей, что под этой черепной коробкой? Два сантиметра отделяют их, — а как далеко. Человек засыпает один, и умирает один.

Он принялся ее покусывать (может быть, бессознательно, стремясь прорваться сквозь внешнюю оболочку). Начал осторожно, нежно, постепенно впадая в отчаяние и гнев; положил свою большую руку на живот: казалось всю ее зажал в ладони. Она великодушно откинулась назад, раскрываясь, подставляя всю себя. И это обман. Она никогда не отдавала себя (идиотское слово, — овладеть женщиной). На самом деле она всасывала, опорожняла его целиком. Но сейчас, грязный, каким Боб себя чувствовал в непривычной черной ткани, быть может носитель инфекционного недуга, он испытывал особое упоение. «Пусть: не любит, не хочет, не совсем, не вся, — тем лучше»... Он понимал теперь больных маниаков, стремящихся опоганить, испачкать здоровое, чистое окружение. Вероятно, Сабина восприняла ту же остроту противоестественного, незаконного.

Они сидели отвернувши лица друг от друга. Пробовал ее гладить, но ладонь, тяжелая, шершавая, липкая, была ему самому противна: отдернул руку. Пошутил:

— Спасибо, что хоть это место они мне оставили светлым!

— У какого врача ты был?

— У моего старого, Поркина.

— Я не думаю... Надо к большому специалисту по общей медицине или еще: по железкам внутренней секреции! Как это пришло неожиданно, так может и исчезнуть! — испугавшись лжи: она была почти болезненно правдива... добавила: — Знаешь, это замечалось уже давно. Дело не в одной коже. Я раньше уже наблюдала какую то перемену в тебе!

Но как Боб ни старался, Сабина ничего больше объяснить не могла или не хотела.

— Надо обязательно посоветоваться с адвокатом! вспомнил Боб Кастэр. — В административном отношении можно ожидать всяких гадостей. Меня сегодня за-
влекли в полицию: я уверен, что вчера этого бы не понадобилось!

— Адвокаты?..

— Дело не только в цвете, — продолжал он. — Чорт с ним. В конце концов, черные тоже люди...

— Да, но я не могу любить другого. Я любила тебя! — прервала она испуганно.

— Вот, вот. Я еще не другой. Но меня заставляют стать другим. Я не хочу платить по чужому счету. Я отвечаю за мою личность: я обязан быть самим собою. Ты понимаешь? А меня толкают отказаться от себя. Меня принимают за другого. Вся жизнь нажимает в этом направлении. И скоро мне даже понравится состояние побежденного. Это самое поганое: ибо соблазнительно легко! Но тогда конец!

— Да, тогда конец, — согласилась она, думая о чем то своем.

— Кстати, Миссис Линзбург. Я больше не хочу ее видеть. Да и она не пожелает держать меня в доме.

— Это верно, — согласилась Сабина.

— Ты поедешь туда, соберешь вещи. Я сниму комнату и позвоню. Сочини историю: заболел, умер, зачислен в подводный флот.

— погоди, раньше всего следует позвонить врачу. Это я считаю все таки главным.

Она долго рылась в телефонной книге. Звонила подруге и еще знакомой этой подруги. Узнала адрес врача. На вызов никто не откликнулся: воскресенье!

— Позвоним завтра, — с досадой решила Сабина. Пока она хлопотала, луч надежды, деловитой энергии разгорался в их сердцах; все становилось проще; впереди была простая цель: найти номер, условиться о сви-

дании, соврать Миссис Линзбург. — Мы туда пойдем вместе, Боб.

Смеркалось. Зимний день равнодушно догорал. Воскресенье. Оно сулило радость и отдых горожанам. Подростки побывали в кинематографе; молодые пары встретились, танцевали, целовались в укромных углах. Глава семьи ласкал взором беременную жену, купал, менял пеленки бэбэ, вытирал послеобеденную посуду. Некоторые захворали, перепились; каретки скорой помощи свезли кровоточащих в госпиталь. Боб Кастэр, сегодня с тобой, с тобою приключилась беда; а впереди, — еще смерть. Не просто настигнет, где нибудь встретит: она уже в тебе, — теплится, дремлет, зреет! И болезнь, последняя, решительная, — уже здесь. Ничто не спасет. Земля будет жить и люди на ней, а тебя нет! Единственный, неповторимый, брезгливый, уродливый, отважный, — ты исчезнешь. Можешь этому поверить? Нет.

Он лежал. Рядом Сабина. Она его сегодня почти не целовала. Случайно... Ему не сладенького нужно. Только бы знать что любит! Не существует: «очень люблю» и «немного люблю», как нет горячего кипятка и теплого кипятка. Она никогда не могла сказать ему, без запинки, — люблю! А поступала как влюбленная. Что нужнее, действительнее? Есть ли ответ, — один, безоговорочный?..

Опять: нечто похожее на кулак или кусок яблока, — у него в пищеводе. Спазма. Выпить бы чаю. За скатертью. И радио-программа. Обыкновенная судьба. Выдержит ли он? Вчера еще мог жениться на Сабине. Тихая, семейная жизнь. Платить налоги, посещать регулярно контору и церковь, по вечерам мыть посуду и пеленки.

«Если-б она радикально изменилась, стала черной, что тогда! — Боб содрогнулся: — Нельзя, не надо. Пусть останется прежней. Не меняйся Сабина. Я люблю тебя. Именно тебя».

Но только что, — все прошло на редкость удачно. Значит... Что это значит? Любит? Любила всегда? По-прежнему любит. По новому: зажав ноздри, кинулась вверх тормашками, принесла себя в жертву, жалостливо и сладострастно...

5. Сабина (продолжение)

Она лежала, смежив веки: огромные ресницы, густые, слегка вздернутые, пали вниз. Судорожно прижималась к нему, ерзая и подрагивая. Так она всегда поступала если чувствовала себя виноватой, — когда ей мнилось: не любит, не достаточно любит Боба!

«Не глядит. Ей тяжело смотреть на меня». И Боб вспомнил... У Сабины, когда то, давно, был роман с испанцем. «Я глядела на него как на Бога. Ничего не видела: только снопы света плыли в глаза или из глаз. Однажды, он спросил меня: — ну теперь ты уже не будешь больше смотреть такими глазами»...

— А ты что ответила? — жадно осведомился Боб.

— Не помню. Вероятно ничего не ответила: только поглядела на него.

И Боб Кастэр, пересиливая боль, засмеялся от умиления: такое существует, пусть не ему, а другим, оно выпадает на долю (очевидно незаслуженно). Заслужить любовь: идиотское сочетание слов! Заслужить благодать.

Они познакомились в Музее of Modern Art, на 53 улице. Не Боб, а испанец с Сабиной. Вообще, все происходившее между Кастэром и ею казалось плоским, серым, а «то» вырастало до размеров легенды! Они постоянно ощущали разрушительные взрывы прошлого. Так планетное возмущение Урана вызывается присутствием другого небесного тела, — Нептуна.

«Я ужасно страдала, — повествовала Сабина: — Я жаждала его видеть ежедневно, по 24 часа, а он считал должным встречаться только по субботам». И Бобу ка-

залось: теперь он играет роль Сабины, а она, — испанца. Придравшись к пустяку, он поссорился: три дня прождал ее звонка. Сабина пришла к нему с цветами. Но Кастэр помнил, к испанцу она тоже ходила с букетиком фиалок.

Она принесла Бобу сирень и целовала его и всхлипывала от радости и горечи любви. И все таки он сказал, защищаясь усмешкой: «Я бы предпочел быть инвалидом и чтобы ты явилась с букетиком фиалок». Сабина безрассудно ответила: «кажется я к тебе никогда не приходила целиком. Не знаю в чем тут дело. Он в сравнении с тобой насекомое».

И в то же время, Сабина, делала все для спасения их связи: кроме неосторожных признаний, черезчур резких исповедей, ни в чем ее нельзя было упрекнуть. Без колебаний разошлась с мужем... и многое другое. Мгновениями, это вполне удовлетворяло Кастэра и рождало чувство стойкого счастья. Не в прошлом, отвлеченно, а тут, реально, сейчас! Так, держа ее палец зажатый в своем кулаке, он однажды, спросонок, поворачиваясь на другой бок, сказал: — Знаешь, вот это очевидно называется счастьем!

Слепая, внешняя сила вмешивается, разбрасывает карты, фигуры на доске, меняет топографию местности, и в поднявшемся вихре, все что он с таким упоением выхаживал, отделявал, раздувал, лепил, — может рухнуть, погребая под собой жалкие останки неудачных любовников. Внешняя сила. Но внешняя ли, случайная? Он вспомнил, за последние недели, Сабина, дважды жаловалась: «Твои глаза совершенно изменились, не то выражение, и рот стал другим, ты чавкаешь, когда ешь!»

«Во всяком случае, я так легко не дамся! — рванул-ся он яростно, не привыкший покоряться чужой воле. — Я прошел тысячи миль под огнем, в бурю, в зной и в арктическую стужу, по этому пути. Я думал реализовать на этой земле то, что пожалуй никому до нас не удавалось: счастливую, совершенную, не разбавленную при-

вычкой, необходимостью, рассудком чистую и страстную любовь. И на последнем круге, — победа вот, вот, за поворотом, — почти у самой межи, когда сам дьявол, казалось, безсилен помешать, — бац, все опрокинуто! Самый смысл темы ускользает. Разве она может меня любить, если я не я... А если полюбит, то, значит, полюбит не меня, не совсем меня. На подобие нового Иова я лежу и почесываю язвы, все мое богатство превращено в пепел. Даже неизвестно: существую ли я попрежнему. Чем крепче Сабина прижимается, тем страшнее ей и тем преступнее она себя чувствует и потому еще ближе прижимается. Моя чистая, моя синяя, покорная и непобедимая», — в разных вариантах думал Боб Кастэр.

Сабина ощущала (кожей), его взгляд, испытующий, изучающий, взвешивающий, — и это ее раздражало. Словно принуждают к чему-то, лишают свободы. Пугаясь своего злого чувства, начинала себя ненавидеть, потом его: становилось трудно дышать.

Когда напряжение достигло неприличных размеров, Боб, заговорил снова о докторе и о малых делах. Она с ним пойдет к специалисту. Боб снимет комнату в отеле; она привезет самые необходимые вещи; а через несколько дней все выяснится.

— Ты можешь у меня заночевать, — предложила Сабина: — Это самое простое. Одну ночь никто не заметит.

Он деликатно отказывался, но не смог придумать разумного предлога: в конце концов они ведь связаны всеми мыслимыми телесными и душевными узами. И теперь ему уйти в отель! Как только он согласился, Сабина снова затихла, внутренне отодвинулась. «Если бы я ушел, она бы думала обо мне, мучалась, болела, может даже любила. А так она меня либо не замечает, либо не переносит: хочет остаться одна», — а комок в пищеводе все твердел. Боб глотал слюну: пока глотаешь легче, — спазма расходитя. Но через мгновение щипцы снова сжимались. Хорошо бы оторгнуть. Выпить соду. Еще

лучше, — виски. «Нет, я им не дамся, не запью».

— Чему ты смеешься?

У них было принято задавать такие вопросы: о чем ты думал только что? или: что ты хотел сказать?..

«Спросить теперь: — Ты меня любишь?.. Какой ужас, ха-ха-ха», — снова затрясся Кастэр.

— Чего ты хохочешь? — обиделась Сабина.

— Я подумал: хорошо бы напиться пьяным... И сразу понял: у меня хватит сил бороться, не убегая от действительности, не прячась! Странно, меня считают фантазером. А ведь нет человека более преданного истине, чем я, — задушевно поверял он. Только надо условиться: что правда и что иллюзия.

— Да, да, — поддержала она по части алкоголя. Сабина не пила и смотрела на вино как на род яда. В ее страхе было что то детское и даже нравилось Бобу. — Кстати, ты ел сегодня? Неужели? Я тебя накормлю. Пошарю в Ice box'е. Мы завтракали с сестрой в ресторане.

Она приносила из кухни по одному блюду: то салат, то сыр, то яйца... показывала и растерянно спрашивала: — Ты будешь это есть? Больше у меня кажется ничего нет.

Прожевывая сандвич, она вдруг заплакала. Боб ее обнял, усадил к себе на колени; Сабина жадно в него впиалась глазами, потом отвернулась, стыдясь и ужасаясь, сказала:

— Я тебя не узнаю.

Позвонили. Радуюсь освобождению, она побежала к двери. Вскрик, поцелуи, приветствия: Диана Корэй, подруга детства. Она проводила Джона over seas, завтра возвращается домой. Глаза ее понимающе, удивленно и озорно заблестели при виде Боба Кастэра. Там, в Массачусетс, ей не случалось запросто встречаться с неграми, да и охоты не было. На чужбине же другое дело, можно повеселиться, встряхнуться, — никто не узнает. Надо полагать, на сей раз, она попала в точку: эта ее поездка будет удачнее предыдущих. Уверенная что она ничем не

рискует, Диана Корэй немилосердно кокетничала с Бобом, — пока Сабина готовила чай, — попутно показывая незаурядную эрудицию в области музыки, политики и фрейдизма. Она надеется, что Боб их сведет в центр ночного Гарлема: она давно задумала написать книгу о негритянском браке. Вообще, свой досуг Диана посвящает социологии и литературе. Она собирается изучить русский язык или китайский.

— Дело в том что я не совсем негр, — нашел нужным заметить Боб.

— Ах, на половину, как это интересно! Одна моя знакомая обвенчалась с негром в Гаити и очень счастлива, — солгала Диана. В это утро она успела познакомиться с двумя канадскими летчиками: ели во французском ресторане, выпили вина... Диана себя чувствовала теперь особенно интересной и великодушной.

— М..., — сказал Боб Кастэр и повторил отчетливо: — М....

Диана, посвящавшая свой досуг социальным вопросам, растерянно всхлипнула, оглянулась и жалобно спросила:

— Я не помешала вам, господа?

— Я думаю тебе лучше выпить чаю и уйти, — посоветовала Сабина, страдальчески морщась, как от сильной головной боли: так дети спасаются от наказания, прикидываясь нездоровыми, и часто действительно заболевают.

Диана Корэй повиновалась: одним глотком осушила свой чай и выпорхнула, — длинокостая, безгрудая, экзотическая птица.

Этот визит несколько рассеял их, сблизил. Долго смеялись, держась за руки, вспоминая подробности дикой сцены.

— Она вероятно впервые за свою жизнь подвергалась такой смертельной опасности, — шутила Сабина: ей было и радостно и жутко... Какой путь проделан!

Диана Корэй сидела с ней на одной скамье в той же школе...

А вечер плыл над студией; синий, на синих крыльях или парусах. Неразгаданный, девственно мерцал снег в Sheridan сквэре. До определенной поры человек думает о своей жизни: теперь незначительное, — главное впереди. А потом наступает минута, он сразу, почти без перерыва, постигает: основное уже было. — позади. Словно, он поднимался вверх, в гору, а потом начал съезжать: той же дорогой, — тропинка спуска отделена от подъема хрупкими поручнями (не перескочить, однако)! Человек бредет вниз и узнает места по которым недавно карабкался, — упрямый, легкомысленный. Он даже не может с особой глубиной и свежестью тосковать о прошлом, ибо пережил уже и опыт утраты, конца, смерти. — предчувствовал все это с первого шага вперед.

Эти слова принадлежали Сабине, но их мог бы сказать и Боб.

Ее начало знобить. Вообще, ей часто нездоровилось. Боб считал это следствием женских циклов, что смешило, а иногда и обижало Сабину. В таких случаях она глотала разные порошки. Сославшись на головную боль, Кастэр тоже принял таблетку аспирина.

— Знаешь, мы будем спать в рубахах, — предложил он: — Неизвестно, может заразительно.

— Ах, какая разница, — согласилась она и Боб понял: она уже думала об этом.

У Сабины с мужем были отдельные кровати, при любой простуде тот боялся ее целовать, — из гигиенических соображений. Как они смеялись над этим, счастливые, гордые, уверенные: с ними такое не приключится. Законные супруги, укладывающиеся спать в пиджаках, — тема бесконечных издевательств. Боб однажды пошутил: семейное счастье или сексуальная смерть!

— О чем ты думаешь? — спросила из темноты.

Охотно отозвался, ждал этого:

— Мы точно на похоронах, наших, собственных.

цировал, на манер прививки, вакцины: свойственная ему форма защиты.

Она ничего не возразила, только просунула руку под его щеку: будто не Сабина, а третий, свидетель, жалующий и его, и ее. Он тихонько, нежно, в такт дыханию, начал облизывать ее пальцы, тоже вырываясь из настоящего, текущего, в прошлое, вечное.

Аспирин ли, усталость... они почти сразу заснули: с тяжестью в груди, — дети, стремящиеся, после обидных побоев, поскорее убежать из действительности.

6. Полезная деятельность

Работа, которую временно выполнял Боб Кастэр, несмотря на свою простоту, — или именно благодаря этому обстоятельству, — изнуряла его. Надлежало, по спискам, укладывать в пакеты книги, заказанные оптовиками, — связать, наклеить готовый ярлык (не напутав) и подать к лифту. Боб служил в Экспедиции большого издательства. Где-то, в кабинетах и будуарах, ученые, дельцы или дамы, ощутившие в себе творческий порыв, отщелкивали на машинках свои произведения, рассчитанные на 14-тилетних, сидящих, подростков... В другом заведении книги печатались, в третьем, — их перелистывали скучающие или жаждущие откровения покупатели. Все это не касалось Боба Кастэра. 8 часов в день, он, вместе с другими озабоченными неудачниками метался по нудным подвалам, освещенным резкими прожекторами, и выбрасывал наверх тяжелые снаряды, — в большинстве случаев, взрыва не дававшие.

Боб Кастэр родился в Америке. 7-ми лет, — после смерти матери, — отец его увез во Францию: назад Боб вернулся уже после Пэрл Харбор. 30 лет он жил в Европе, слонялся по страшным и неповторимым городам. В Берлине встречался с подростками Рэма, в Париже с художниками и поэтами традиции Аполлинэра. Войну против немцев Боб начал еще в Испании, где его легко ранило в ногу.

Америки он не помнил. Отец, указывая в сторону садящегося солнца, иногда говорил ребенку — Там Америка...

Багряные поля над зеленым океаном... Это была Америка его детства. Сердце сжималось от сладкой тоски, тянулось в таинственную даль, клянясь когданибудь доплыть, вернуться, — домой. Другой Америки он не знал. По дороге, на Бермудских островах, куда их пароход нечаянно завернул, англичане задержали Боба, заподозрив его в шпионаже: не то приняли его за кого-то другого, не то прошлое Боба показалось им слишком красочным. С помощью консула, Роберта Кастэра скоро освободили, но работа на заводах обороны отныне была для него, — как неблагонадежного, — совершенно исключена. В армию Боба также не приняли: на медицинском осмотре, болтая с дураком психиатром, он в шутку заявил, что спал однажды с мальчиком. Этого было достаточно: очутился за бортом, — а войну эту он ждал и считал справедливой. Из Мичигана, где проживала дальняя родня матери, ему слали теплые, вежливые письма. Боб съездил к ним и нашел людей, — такого примитивного, детского склада, что ему стало нелегко. Кроме того, они решили его женить. Он выкупался в Lake Michigan: поплыл далеко, чем вызвал небывалое оживление на берегу, — оттуда кричали, свистели, улюлюкали. От дикого шума ему захотелось зарыться головой в воду, уйти навсегда от берегов. Когда Боб выбился из сил, он по обыкновению лег на спину. Но волна в озере была непривычная: резкая, стесненная. То мелкие, мягкие валы, то огромные, злоеющие, холодные, поднимающиеся откуда-то из таинственных глубин. Боба перевернуло, залило. Захлебнувшись, ослепленный, он едва не утонул. На следующий вечер уехал в Нью Йорк.

Для многих война была началом новой жизни, расцветом в делах, — приключения, чины и высокое жалование. Не для Боба Кастэра. Он исколесил Европу вдоль и поперек, — некоторые страны на велосипеде, —

изъяснялся на десятке главнейших языках, знал окраины и пригороды большинства столиц, всюду имел знакомых и верных друзей. Всего этого недостаточно. Он побывал в десятке учреждений, писал прошения, заполнял анкеты с вопросами вроде: имели ли вы nervous break down, потребляете ли спиртные напитки (всегда, часто, никогда, — надо было подчеркнуть ответ), какой ваш излюбленный hobby. УНРА, ИМКА, Office of War Information, география, филология... Повсюду Боб натыкался на известный ему, ненавистный, тип средне-европейских люмпен-пролетариев, остервенело защищавших свои шкуры, свои бифштексы, свои ложные представления. Немногие американцы, попадавшиеся ему, смахивали на тяжелых, хорошо воспитанных детей, — в европейских делах они не разбирались и главная их забота была: сохранить статус кво, шаблонное течение бумаг и не попадаться в просак!

К этому времени, друг Кастэра, швейцарец, затеял художественное издательство и Боб, нуждаясь в деньгах, на заказ состряпал книгу об испанском Ренессансе. Аванс ему выплатили, но труд так и не вышел в свет. «Ты не понимаешь Америку, — объяснил ему швейцарец. — Американцы любят... Американцы не любят»... Всякий раз когда Боб что то замышлял сделать, — от души! — он непременно натыкался на австрийца, ирландца, поляка или мексиканца, которые вопили: вы не знаете Америку!.. и тут же пускались в пространные описания характера аборигенов, словно речь шла о таинственном, полоумном, карликовом племени в недрах тропиков, богатых резиной или золотом. А самих американцев Боб почти не видал. Куда бы его ни заносило — Чикаго, Детройт, Бостон, Сан-Франциско, — ему говорили: «Разве это Америка»... Он ехал дальше, но и Америка отступала, проваливалась, — невозможно ее открыть! Американцы, которых Боб встречал без посредников, были загадочно просты и несколько пресны, однообразны. Совсем не глупы, но вне круга интересов

волновавших Кастэра. Те же, редкие, что рассуждали и жили в понятных категориях, — были не у дел: нищие, без влияния, без работы, без корней.

Вернувшись из своего неудачного путешествия по Калифорнии, Боб нанялся упаковщиком в издательство своего друга: 20 долларов в неделю. Но вскоре они поссорились на почве фрейдизма: Боб считал современную практику психоанализа — жульничеством. Швейцарец, убежденный поклонник Фрейда и Юнга, прогнал его за ереси. Но там Боб научился коммерческому обращению с книгами, узнал необходимые адреса и термины: перешел в другую, крупную фирму, уже за 28 долларов в неделю (платный, недельный отпуск в конце года). Ему открылся новый литературный опыт — рабочего. В силу этого опыта, «Война и Мир» — зло, ибо тяжело вращать пакет с 50-тью экземплярами. А Вики Баум всех полов и национальностей — добро (ибо мало весит, несмотря на свою пухлость). Тогда он познакомился с Сабиной и жизнь его неожиданно обрела новую ценность и полноту.

7. Понедельник

Незаметно Боб Кастэр проскользнул в чулан, где рабочие переодевались. Ничего приятного этот день не сулил ему. Он несколько запоздал: в комнате ни души, — только настезь растворенные шкафы с темными пальто и пиджаками. Надев халат, поспешно шмыгнул в свой угол. Против ожидания, никто не обращал внимания на Боба Кастэра. Со времени войны персонал этого консервативного заведения постоянно менялся, приходилось нанимать любой сброд, — ежедневно пополняя тающие кадры (в мирные годы, хозяин, добрый католик, считал предосудительным заставлять инако-верующих работать по праздникам, а праздновать святых всех исповеданий он не мог).

Только старый Альфред, принимавший пакеты с тачки на лифт, удивился: «Еще один черномазый чорт»!

Трудились, разумеется с прохладцей. Уборная являлась чем то вроде клуба, где собирались подростки, — они преобладали: — курили, вспоминали приключения последнего week-end'a. Из страха перед взыскующим начальством, производившим ревизии и в уборной, все усаживались на табуреты: дверей у кабинок не было, вероятно из соображений нравственности. Они курили, болтали, делясь наблюдениями и опытом. Опыт был обнаженный, нищий: скелет без мяса. кожи и красок.

В эту субботу, Фред с братом, и еще трое, поехали в Харлем за женщиной. Они подрядили одну черную. за три доллара с носа, — уплатили вперед. Но самый младший, Том, не смог, — как ни старался. Тогда честная негритянка вернула ему три доллара. Почему то заговорили о кастрации. И Аксель рассказал как на Среднем Западе охлащивают быков. Получалось довольно страшно. Аксель, огромный, узкогрудый, жующий, мрачный детина (200 фунтов весу):

— Они там без ножа, — объяснял он: — Хватают и дергают вот так... — и все продолжал наседать и поворачивать руку: неизвестно было когда он остановится. А голос: тихий, безразличный, честно-скупной.

В полдень Боб съел сосиску и по обыкновению побрался в пустую контору, — к телефону. Этот аппарат был одним из вернейших свидетелей их романа: проводник счастья и бед, радости и скрежета зубового (если сообщить людям, что тебе нечего есть, — не оплачена квартира, болят зубы, — любой слушатель отнесется серьезно, окажет внимание, выразит сочувствие. Но попробуй сказать: я влюблен и в отчаянии... добиться желанного невозможно... тупое неведение заливаает душу... Всякий снисходительно улыбнется, — детская дурь, — пожмет плечами, расскажет анекдот из своей практики). В городе, где-то на высоте 50-той улицы, Боб Кастэр однажды видел подбитую Летающую

Крепость: ее привезли из Европы и выставили, — для успешной продажи war bonds. Почерневшая от огня, пробуровленная осколками, с отрезанным крылом, кривая, жалкая и величественная в своей агонии, все еще верная памяти покинувшего ее экипажа. Вот об этой Летающей Крепости думал Боб всякий раз, подходя к телефону: кроткий свидетель их страшной любовной борьбы.

Он дал сигнал: прозвонил разок и разъединил, — давая время Сабине привести себя в порядок. Иногда (в удачные дни), она его тут же опережала: не успевал Боб снова начать маневр, как раздавался телефонный звонок конторы, — внезапный и трепещущий (Сабина приходила к нему на службу, разглядывала этот аппарат; как то, они позвонили, вместе, к ней на квартиру, долго прислушиваясь, — невольно содрогаясь, — к знакомому, пустому, жестокому звуку: радуясь что удалось обмануть рок. — они тут и не нуждаются в ответе). Порой линия была занята; часто оба проделывали, — навстречу, — ту же манипуляцию и, по черствой, эдисоновой логике, вызовы не совпадали.

Боб снова позвонил, и вот из трубки, — близко, — она: энергичный, добрый, детский, женский, насмешливый голос.

— Тебе плохо, бобрик? — спросил он с нежностью.

— Знаешь, прибирая, я нашла неоконченное, неотосланное письмо к тебе. Стало так грустно...

— Прочти пожалуйста.

После паузы: «Дорогой мой, единственный! Очень хочется писать тебе, а не о чем писать. Ведь все ясно. Писать о кинематографе, о платье, о друзьях, — все на одну тему получается. Важная тема, хорошая тема, новая тема и глупая. Вот еще одна ночь и мы встретимся. А где? Сиротки мы, пойдем в парк, где крысы (крыса имеет семью. — твои слова). Как хорошо лежать вдвоем под теплым одеялом, а снаружи, — дождь. Но это уже для гурманов. Целую тебя Бобик, вот закрой

глаза и по всей белой странице, вот тааак, целую тебя».

Крепясь сказал: — Видишь, ты была влюблена, а мы не верили.

— Как на работе, неприятности?

— Нет, здесь никто никого не замечает. Что там, к чорту, — отмахнулся он: — Бобрик, нужный, ласковый, с хвостиком.

Она засопела носом, сморкаясь и всхлипывая:

— Что мне делать? Ты теперь такой славный, лучше чем раньше. Я хочу тебя любить и не могу. Нет праздника. Помогите нам. Ты все знаешь. Я хочу любить. Прежде я сопротивлялась, не верила и любила. Теперь я готова и чувствую: остатки любви уходят, нет праздника, сияния больше нет! Я страшусь скуки и старой своей жизни без сияния. Я так была счастлива: даже страданиями и ссорами. Не желаю терять это, — и снова она сопела тепло в трубку. — Пойми, я не в силах тебя любить как хочется. Теперь не время об этом говорить, но я не должна тебя жалеть: тогда конец. Ты должен найти что-нибудь. Ты умный, посоветуй. Болезнь эпизод, но ты изменился и давно уже! Помогите... — умоляюще повторяла Сабина.

— Хорошо, подумаем, будет сделано, — с фальшивой готовностью приговаривал Боб Кастэр: взять бы немедленно за горло осязаемого, конкретного врага! Так бывало, после предательского, грубого удара в спину, он вставал и слепо бросался навстречу, уверенный: его могут убить, но не одолеть. — Это надо обсудить и мы все устроим, — нелепо обещал он.

Сабина все понимала, но ничего не могла выдать из себя... Только:

— Какие у тебя планы на сегодня? Ночуешь у меня?

— Нет. Слишком много хлопот. Поищу комнату.

— Тебе виднее. Доктор согласен тебя принять только в среду.

— Я решил идти к другому врачу. — сочинил Боб,

не желая пользоваться ее услугами: — Уже нашел специалиста.

О, как она его знала. Ребенка и мудреца. Самоотверженного в крупном и смешного тирана в мелочах. В сущности, Сабине это нравилось: он часто ее раздражал, злил, даже возмущал, но стоило ему уступить, — превращаясь в кроткого, ручного волка, — как она пугалась, сразу теряла интерес. Будто, главная ее цель заключалась в том, чтобы отдаться ему, быть съеденной на манер барашка, а потом, изнутри, подточить, переродить, переварить его, волка.

— Надо кончать, идут люди, — сказал Боб. — Во всяком случае, знай: я восстановлю свой первоначальный облик!

— Ах, я устала, я ужасно устала.

— До свидания.

Боб Кастэр сердито щелкнул рычагом. Подождал еще мгновение, на всякий случай: вдруг, она, — ответной волной, — сразу позвонит, как бывало. Вышел. Хочется, хочется жить, но как... Он видит солнце и не видит. Обращаются к нему и не к нему. Он — он, и не совсем — он. «Конечно Сабина права, я вообще изменился, сдал, разжирел, отрыжка и этот комок в горле и другие девочки, часто, часто, — соблазнительны».

До начала работы оставалось еще немного времени, при желании Боб мог успеть обзавестись комнатой, не рискуя слишком опоздать. Добравшись автобусом к **Lexington Avenue**, он зашел в первый попавшийся дом с вывеской: **Single, Rooms**. Там ему сказали: — все занято... То же самое в следующем доме и в третьем. Боб Кастэр ходил бы еще так долго, — сжав зубы и кулаки, — если-б один хамоватый и доброжелательный **Superintendent**, неопределенной национальности, не сжалился над ним:

— Поднимитесь выше, к 110-ой улице. Там сдают неграм. Здесь вы не найдете.

«Гады, гады, — с отвращением, точно вступив в не-

чистоты, шептал Боб. И неожиданно: — Схожу к адвокату. Уже, без промедления».

Во время первого периода своей американской жизни, еще пытаясь зачислиться на государственную службу, Боб как то обратил внимание на объявление в газете одной конторы по юридическим делам: оно было составлено так, что напоминало рекламы врачей, исцеляющих по переписке, таинственными средствами, от стыдных болезней. Кастэр тогда записал этот адрес, но у ходатая не удосужился побывать. Повинуясь внезапному чувству, он тут же кликнул такси и помчался на West 42-ую улицу.

8. «Лиф, Либ и Лид».

Лифтом, одним рывком, его подбросило до 32-го этажа; затем пошли угрюмые, частые остановки: озабоченные люди наседали, толкались, выскакивали; от их мокрых пальто валил пар; раздавался заунывный возглас: «Watch your step... going up»... Лифт-бой, седой, бритый джентельмен, видимо только что научился маневрировать рычагом. Боб делал бы это гораздо ловче. Визитная карточка: Роберт Кастэр, работник вертикального транспорта.

На 44-м этаже, в узенькой клетушке, его принял добрый, лысый и жуликоватый господин. Выслушав первые, отрывистые фразы Боба, он восторженно всплеснул руками; порывшись в металлической пепельнице, выбрал огрызок сигары побольше и, закурив, сказал, взвешивая каждое слово:

— Жалоба мне кажется такого характера что, стоит внимания и остальных компаньонов! — он нырнул в низенькую, фанерную дверь; через мгновение вернулся и пригласил Боба пройти в следующую комнату.

Они очутились в поместительном, вполне приличном кабинете, обставленном дорогой и удобной мебелью. Мистер Лиф, высокий, благообразный патриарх,

встал и ласково, ободряюще похлопал Боба по плечу (как знаменитый хирург, — когда другие уже отказались оперировать).

— Расскажите подробно в чем претензия, — попросил он.

И Боб Кастэр снова начал... Он сам удивлялся, как мало, в сущности, мог сообщить: в пяти фразах исчерпывалось все. Несколько раз подчеркнул, что имеет свидетелей, кроме того, сослался на сокровенное место, оставшееся белым. Адвокаты пожелали лично убедиться: склонив благоухающие лысины, внимательно его освидетельствовали, — патриарх даже потрогал пальцем:

— Позови-ка... — он назвал несколько имен.

Молодой выбежал и через минуту кабинет наполнился народом: собралось человек пять или шесть, доброжелательных, мудрых, жуликоватых (все с любопытством принялись изучать светлый пятачек на теле Боба).

— Вам повезло, вы нашли подходящих людей, — задумчиво начал патриарх, старательно вгоняя папиросу в мундштук: — Мы займемся вашим казусом. Ясно, вы теперь в ложном положении. Доктора докторами, но в первую очередь вам нужен нотариальный акт, подтверждающий ваше происхождение. На основании этого акта можно будет ходатайствовать о формальном удостоверении... что вы белый несмотря на видимость! Дело вероятно покатится в Верховный Суд. Такого свидетельства мы скоро не добьемся, но зато и черным, юридически, вас нельзя будет считать.

Они достали из большого шкапа несколько книг разных форматов: там были тома *in folio*, заполненные, казалось, от руки, таинственными каракулями. Заглядывая через плечо, перебивая друг друга и споря, они занялись чтением текстов, — на многих языках.

What's the matter? — возвысил голос опять старик: — В чем дело, не было прецедентов? Но только осел

может предположить, что все прецеденты известны нам. Что случилось с нашим клиентом? У него потемнели не волосы, а кожа. Боже мой, велика важность: банальный жизненный процесс в нем действовал скорее и с большей силою. Вот и все. С вами, Роберт Кастэр, произошел известный анекдот: вы потеряли свой первоначальный образ. Значит ли это что надо примириться? Во имя Бога. Обязанность каждого человека на этой земле: быть самим собою. Тогда не будет людей — скотов, людей — гадов, людей — мертвецов. Задача цивилизованного общества помогать личности быть тем, чем она есть в действительности. Ученый должен быть ученым, купец по призванию — купцом, а белый — белым, не смотря на козни сатаны! Большинство страданий от того, что люди не стоят на своих местах. Пустите кенгуру на лучшее пастбище, но если это не ее корм, она околеет. Посадите грешника в рай и его разорвет на части: ему легче в аду. Мистер Кастэр страдает и мы должны ему помочь!

Так говорил патриарх, прерываемый ожесточенными возгласами своих коллег. Осилив их в споре, старик расчувствовался и, достав из ящика стола истрепанную книженку, умиленно улыбаясь, протянул ее Бобу. Оказалось, что это военный паспорт его отца. Наума Лифа, бывшего солдата русского царя Николая I и выслужившего пенсию в размере 3 рублей в год.

— Да, — недоумевающе повертел Боб документ, не совсем понимая к чему это, не в силах проникнуться в настоящую минуту интересом к чужой жизни.

— Вы чудесный парень, — похвалил его патриарх и торопливо зашептал: — Будем действовать осторожно и без излишнего шума, по всем известным причинам. Спокойно, спокойно: я пятьдесят лет жду вас. Все будет сделано. Только вы должны вести себя с мудрой осторожностью. Главное, тщательно относитесь к тому, извините меня, месту, которое по сей день сохранило девственную окраску! Я заметил, что вы не обрезаны.

Теперь в Америке всех обрезают. При этом климате вы рискуете загрязнить, получить инфекцию, воспаление, тогда пропадет последний след. Доктор Бомэ, голубчик, сейчас произведет над вами нужную операцию, суший пустяк. Вы ничего не почувствуете. Перевязка на три дня и — забыто.

Не успел Боб хорошенько сообразить, о чем речь, как двое господ его схватили и бесцеремонно, но умело начали разоблачать, а один джентельмэн, в очках и с южно-американскими усиками, уже надел белоснежный халат, позвякивая блестящими щипцами.

— Что такое! — догадался наконец Кастэр: — Решительно отказываюсь! — олять эта его ненавистная фраза: через всю жизнь она торчит занозой, рождаемая дурной отвагой и злой честностью. — Не вижу надобности! — оттолкнув наседавших дельцов, Боб возмущенно встал. — Мне противно спорить. Я всегда мечтал попасть в такое место, где без лицемерия и слабости можно сказать окружению: да! Но очевидно время еще не наступило.

— Это *conditio sine qua non*! — заорал патриарх и лицо его стало желтым и злым. — Желай после этого добра людям!

— И вы полагали, что я так легко уступаю: соблазнюсь первым обещанием успеха! — Боб рассмеялся.

— Пусть этот интриган уйдет, — крикнул старик. — Это опасный субъект. Проклятие Сынов Гигиены на его голову. Чума чтобы выела не только его шкуру, но и середку! — заслонив глаза ладонями, он горестно расклавываясь стонал: — Ох-ох-ох, куда мы идем, ох-ох-ох!

— Видите, вы огорчили патрона, — угрожающе заметил Бомэ, размахивая щипцами.

— Если-б вы только догадывались, каких патронов я уже огорчал, — весело откликнулся Кастэр.

— Безумец, вы только о себе думаете, — убеждал молодой, с неизменной полусигарой во рту. — Победа без компромисса...

— Бесполезно, удалить его, — прервал старик.

Несколько человек дружно навалилось на Боба: подняли, поволокли к дверям.

Лифт сбросил его, помятого, на 42-ую улицу. Оживление, вызванное борьбой, вскоре улетучилось. Темнело. Зимние сумерки. Синие кровоподтеки: туман и стужа. Ветер: морской, — со всех, четырех, сторон. Ча службу опоздал. Толпы людей валили из контор: жадно набрасывались на витрины больших магазинов, на афиши театров, — стремясь урвать лишний кусок у жизни.

У Rockefeller Plaza толпились зеваки: по какому-то поводу подняли флаги союзных наций. Играл оркестр и отряд моряков картинно застыл, салютуя. Боб застрял: дальше итти нельзя было. Спереди его стояла женщина в мехах и перьях. По старой привычке, Боб обратился к ней с игривой шуткой. Дама, улыбаясь, оглянулась и вдруг испуганно отпрянула. Кое кто, рядом, удивленно зароптал. «Я негр. Мне нельзя быть обезьяной», — догадался он. Кровь горячо и возмущенно шарахнулась. Опасливо выбрался назад, пересек улицу не озираясь. «Комнату, искать комнату, — вспомнил: без сил, без воли. — Если-б ты меня не оставила! — к Сабине: — Бог бы меня тоже не бросил. Каким я был хорошим в нашей любви. Помнишь... Острая боль. Праздник горя. Я готов к нему. Но как жить в этом: я совсем не приспособлен. Любовь моя, я все таки попробую еще держаться».

Сумерки. Стужа. Чернокожий, спотыкаясь, бредет по Манхэттену, что-то бормочет себе под нос.

9. Темный спутник

Боб Кастэр медленно брел вверх по Lexington Avenue. Сзади, совсем близко, за ним следовал прилично одетый негр с праздничной сединой в висках. Боба всегда раздражали эти случайные спутники, от которых трудно отделаться (особенно ночью, когда шаги

слышны издалека). Он зашагал быстрее. Но тот не отставал: через минуту очутился почти рядом. Боб свирепо оскалил зубы, а негр вежливо приподняв шляпу, сказал:

— Меня зовут Артур Фрезер, — и кивнул головой в подтверждение своих слов.

Бывало, в Европе, Боб так любил эти уличные, случайные знакомства: никогда нельзя с уверенностью решить, отставной ли это министр, сын президента, второй Пикассо, Артур Рэмбо или сутенер, убийца. Однажды, ночью, в Париже, молодой неудачник, раненный ножом в живот, по дороге в госпиталь Тенон, заявил Бобу: «Мы с тобой еще встретимся в будущей жизни».

— Отстаньте от меня, — брезгливо отозвался Кастэр.

— Я хотел с вами поговорить об одном деле, — кротно объяснил Артур Фрезер.

— Я не думаю чтобы у нас были общие дела. К тому же, я спешу.

Но тот не смущаясь продолжал:

— Вы Роберт Кастэр! — голос у негра был жидкий, старческий и он откашлялся, точно сам чувствуя ничтожность издаваемых звуков.

— Что вам угодно! — вскричал Боб, останавливаясь и удивленно разглядывая надоедливое собеседника: — Я хочу быть один, слышите!

— Я вам помогу, — прошептал негр и вдруг подмигнул.

— Я вас не понимаю, милостивый государь, — растерянно пролепетал Боб. — Говорите скорее: вы денег просите? — он снова устремился вперед, кутаясь в пальто: не хватало пуговицы.

— Четыре года тому назад, — рассказывал Артур Фрезер, семеня, то справа, то слева от убегающего Кастэра... — Я был белым, как все белые. Вы читали в романах, что седеют за одну ночь? Вот так я почернел! Впрочем, вы это знаете не хуже меня, к сожалению,

сэр... Я, можно сказать, был в отчаянии, помышлял о самоубийстве, пьянствовал, посещал психиатров. Но судьба сжалилась надо мною: ко мне пристал, таким же назойливым образом Джэк Ауэр. Нам сюда, — заметил Фрезер и взяв Боба за локоть решительно повернул в сторону 3-го Авеню. — Есть союзы слепых или глухонемых, безногих, старых дев, страдающих от грудной жабы, ревматиков: совместно приятнее бороться за лучшие условия, искать утешения, наконец осмысливать горе. Ибо наша болезнь нуждается в интерпретации. Боб Кастэр, — торжественно заявил черный собеседник: — Вам надлежит стать членом «Союза родившихся белыми». Это пока еще полулегальная организация, благодаря печальному ряду тонких обстоятельств. Но ведь все Юнионы по началу вызывали недоверие, только постепенно завоевывая признание. Наша слабость в крайней малочисленности. До сих пор удалось зарегистрировать 7 случаев подобных вашему и моему. Причем один из них: негр, обернувшийся белым... что, в общем, требует отдельной секции. Семь. Это все. Немыслимо рассчитывать пока на сочувствие широких масс. Даже подлинные негры и те нам враждебны. Но в единении сила.

Боб Кастэр так был потрясен первыми же словами Фрезера, что уже не слушал дальнейших его разглагольствований.

— Я не один. Я не первый, — повторял он, раньше про себя, потом вслух, и лицо его расплывалось в глупую, блаженную маску. Седой негр смотрел на него, печально улыбался и сочувственно кивал головою. Затем, достав большой, цветной платок, усердно, с облегчением, высморкался.

10. Катакомбы

Они остановились на углу одной из параллельных улиц, у маленькой цирюльни с вращающимся полосатым столбиком. Через освещенное окно виднелось уз-

кое, длинное помещение, вероятно переделанное из коридора: хозяин или подмастерье дремал в кресле, укрывшись салфеткой.

— Сюда, — сказал Фрезер и отворил низенькую, давно некрашенную, входную дверь.

Тотчас же, будто его дернуло электрическим током, мастер в кителе прынул с кресла и ласково улыбаясь поспешил навстречу посетителям.

— Не беспокойтесь, Сам, — со скромным достоинством произнес Фрезер. — Мы тихие друзья, — и, подталкивая, провел Боба к дверям в другом конце мастерской.

Они попали в темную переднюю, спустились по каменной и неровной лестнице; потом пересекли открытый квадратный дворик (здесь Боб Кастэр заметил: уже вечер); прошли цепь подвальных комнат с цементным полом, где висели котлы, шеренги электрических счетчиков и другие аппараты. Плутая по темному извилистому коридору, они вдруг очутились в большой, двуюрусной, резко освещенной зале. Ряды деревянных скамеек окружали, — в центре, — монументальный, покрытый темным сукном, стол. Человек пять или шесть терялись в этом огромном амфитеатре. Лица у них были темные, сонные, движения и голоса тихие (только у одного, вместо лица, мерцала болезненно бледная маска, обрамленная курчавыми, пепельными завитушками). На краешке стола, маленькая женщина, с пышной гладкой косой, и гигант, атлетических форм (как потом выяснилось, — председатель, Джэк Ауэр), играли в шашки.

Неясный гул одобрения встретил вновь пришедших; тени зашевелились, приподнялись, пересели ближе к столу. Атлетического сложения, бритый, морщинистый, Ауэр встал и звякнул колокольчиком:

— Друзья и сотрудники, — начал он. — Рекомендую общему вниманию новую жертву социально-космических конфликтов: Роберта Кастэра. Анекдот с ним приключился в ночь на это воскресенье. А сегодня ува-

жаемый джентльмэн уже здесь: судите о качестве работы нашей администрации. Должен воздать крайнее секретарю Карлу В. Мостицкому, к сожалению отсутствующему, а также похвалить проницательность, такт и сноровку Артура Фрезера. Предлагаю произвести сбор в пользу потерпевшего, — с этими словами он взял чью-то помятую шляпу, швырнул в нее банкнот и передал соседу по кругу.

Присутствующие, поочередно, совали туда разной ценности ассигнации, — пока шляпа не попала в руки Боба.

— Это для вас, — пояснил председатель и заставил Кастэра пересчитать содержимое. — 25 долларов! Другая, представьте себе, нас не семь, а сто или тысяча. Понятно? Фред Нельсон, пожалуйста по уставу! — Джэк Ауэр снова звякнул колокольчиком.

Нельсон оказался толстым, тучным астматиком. Он встал, гулко ударил себя по груди и в тон звуку, тяжело, заговорил:

— Сообщу по порядку. Я белый. Родился даже блондином. Я был счастлив. Работал на конфектной фабрике; женившись на дочке хозяина, стал его компаньоном, а после смерти тестя — единственным владельцем предприятия! Наши сласти пользовались заслуженной репутацией в итальянском квартале. Раз, вечером, очень усталый, я вышел от крупного клиента, где то на Ист-Сайд. Место было глухое, моросил дождь, такси не попадалось и я порядочно вымок. Несколько автобусов промчалось вверх и вниз по Авеню; я не знал эту линию, но решил сесть в любую машину: проехать несколько кварталов, до первого собвея. Я так и поступил и, бросив монету, занял свободное место. Автобус, — коричневого цвета, — был плохо освещен, немногочисленные пассажиры угрюмо молчали, а лицо шоффера мне показалось знакомым.

«Куда идет этот автобус»? — спросил я. Но шоффер не услышал или не пожелал ответить. Только бли-

жайшие спутники удивленно оглянулись. Вскоре я позвонил, считая более разумным слезть. Но машина все мчалась, шлепая шинами по грязной мостовой: за окном осенняя ночь, ливень и совершенно незнакомые улицы. Вдруг мы въехали на какой-то покатый, железный мост, существование которого я не подозревал в этой части города. «Я хочу сойти», — сказал я, как можно спокойнее: «Я уже приехал».

«Господин сел в автобус не зная его курса», — произнес кто-то сзади меня: я не понял, с упреком или в оправдание.

«Затормозите немедленно», — крикнул я, подбегая к шоферу. А тот, словно глухой, немой (мелькнуло: не спятил ли съума), продолжал бешенно гнать свое чудовище в темноту... Тогда, за спиной, из дальнего края, раздался голос человека, которого я не мог разглядеть: «Спустите этого суслика»... и мотор, сразу замедлив, стал. Не зевая, я выпрыгнул и побежал прочь. Оказалось: совсем близко, за углом, станция подземки. Минут через 40 я очутился уже дома. К жене навелись знакомые, мы играли в *gin rummy* и я собрал 18 долларов. Лег спать в очень хорошем настроении. А на утро проснулся — негром. Сначала было ужасно. Все пошло прахом, семья расстроилась, дело забрали. Но теперь мне легче. Я привык и обрел друзей...

Фред Нельсон почтительно поклонился и хотел сесть.

— Предъявите отличительный знак, — строго напомнил председатель.

Толстяк покорно растегнул рубашку и обнажил правое плечо: там выделялось пятно, — величиной с апельсин, — белого, нежного цвета, окруженное жаркой, звериной чернотой.

— Герард Ферри, — возгласил председатель Ауэр.

— Я негр, родом из Иллинойс, — сообщил, осклабясь, болезненно бледный, курчавый господин: — По образованию я юрист. Защищал бедных и угнетенных,

писал в наших газетах и был кажется счастлив. В связи с одной интересной тяжбой мне пришлось смотаться в Нью Йорк; предполагал управиться в несколько часов, но пришлось застрять на week end. В субботу вечером, помню, летом 1940 г., я гулял по центру города, любуясь его достопримечательностями. Незаметно добрался до **Madison Square**. Толпы любопытных стекались со всех сторон к этому безобразному зданию. На стенах висели бесчисленные афиши: но по ним трудно было догадаться о программе вечера... Они рекламировали многие труппы и разные выступления на месяц вперед. К тому же я слегка близорук и очков не ношу. У открытых касс вытянулись длинные хвосты: рвали из рук билеты на все эти представления. Медленно я пробирался дальше и дальше, словно зачарованный. Пришел к месту где дежурили контролеры. Я ждал: сейчас меня окликнут... тогда я спрошу, что именно дают сегодня и где можно приобрести билет. Но меня не остановили. Незаметно для себя я очутился внутри многоярусного бесконечного амфитеатра, заполненного нарядной публикой: неловко и боязно. Распорядители с желтыми повязками метались меж скамьями, рассаживая, густо заполняющую все проходы, толпу. Боязно: ктонибудь спросит, а я не сумею толком объяснить как сюда попал. То, что для белого простая оплошность, для негра уже преступление. В глубине, на площадке, был выставлен полный набор инструментов большого оркестра; группы подростков, очевидно хор, выстраивались у возвышения. Горели огни, отовсюду свисали флаги, на транспарантах чернели замысловатые надписи, выведенные старинной готикой. А понять в чем суть нельзя! Осторожно, никого не толкая, я шел вперед, повернул раза два, поднялся куда-то по лестнице, там нашел ряд пустующих стульев и уселся. Мне было приятно, удобно и все таки боязно: негр-интеллигент обязан проявлять сугубую бдительность. Места вокруг быстро заполнялись. Публика валила и валила, ища свободного кресла.

И вдруг я поднялся, стремительно побежал назад: через минуту достиг уже рубежа, где стоял контроль, благополучно его миновал. «Вероятно это какое то скучное, религиозное собрание», — успокоил я себя. В театре Capitol давали фильм на военную тему, кроме того, модный тенор пел, три девицы бегали на руках, двое белых отбивали ногами трещотку так, что любой негр бы позавидовал. Я поужинал в Sea Food, выпил пива и улегся в своем номере один. А под утро проснулся вот таким, светлым. Сперва даже обрадовался: ведь жизнь негра не сладкая. Но скоро обнаружилось: я потерял все... Место, семью, цель, путь. Даже мироощущение изменилось: я потерял себя. Слишком поздно начать все сызнова... Только раз в неделю, здесь, мне удастся еще быть самим собою.

Нагнувшись, Герард Ферри снял свой башмак и носок: нога его оказалась черной, с типичным, фиолетовым переливом у ногтей. — хорошая, мускулистая нога негра.

II. Собрание продолжается

— Магда Мэй! — объявил председатель.

Поднялась худенькая, темная, миловидная женщина с толстыми, синеватыми, круто стянутыми косами. Неуверенно озираясь, она произнесла шопотом:

— Я не помню обстоятельств вызвавших мое преобразование.

— Магда Мэй, — строго окликнул ее Джэк Ауэр: — Безобразие. Уже во второй раз вы срываете нормальное течение протокола.

— Но г-н председатель, — она выразительно прижала руки к груди. — Это не капризы, я стараюсь вспомнить и не могу.

Председатель что-то пробормотал. Негр, превратившийся в белого, кубарем выкатился из зала. Наступила минута напряженного молчания. Даже Боб Кастэр не

мог отделаться от какого то досадного чувства. Желая это скрыть, он игриво улыбнулся хрупкой женщине. Но вот послышались шаги и в комнату вошли двое: Герард Фэрри и парикмахер в белом кителе.

— Мистер Вайс, — сказал председатель заискивающе улыбаясь. — Соболаговолите напомнить этой даме некоторые известные вам факты.

— В последнюю субботу ноября 1943 года, — от-
вернувшись, неохотно, начал мастер, — ко мне в заведе-
ние пришла дама с двухлетним мальчиком: первая
стрижка. Я предпочитаю любую работу этой возне с
маленькими грызунами. У дамы были удивительно пыш-
ные, красивые косы. Вот почему я вообще обратил на
нее внимание. По субботам у меня работают подма-
стерья, клиентов много. Кому шампунь, кому электри-
ческий массаж или ультра фиолетовую лампу: шипение,
пар, щелканье ножниц. Я люблю субботу г-н председа-
тель.

— К делу, — отмахнулся Джэк Ауэр.

— Извините, — спохватился цирюльник. — Хотя
заметьте себе: я не обязан принимать участие в ваших
собраниях. Итак я занялся маленьким клиентом. Если
вам кажется, что ребенка легко стричь, то вы глубоко
ошибаетесь... Ребенка очень трудно добросовестно по-
стричь: он не сидит спокойно. А первая стрижка это
в некотором роде посвящение, конфирмация, надо сра-
ботать честно! Как я и ожидал, сопляк сразу начал вер-
теться и пищать. Лампы, моторы, бритвы, ножницы над
самых ухом, напугали его. Должен засвидетельствовать,
страх его объѣл воистину необычайный: он захлебнулся
от крика, распух и посинел. Я взглянул на эту лэди, ибо
это она привела тогда своего сына... Она застыла, стис-
нув зубы, страдая, готовая заплакать, борясь с жела-
нием: схватить мальчика, освободить из моих тисков и
унести... но почему то не решаясь это сделать. Люди ду-
мают: пустяки, обыкновенная стрижка. Нет, не бывает
обыкновенных стрижек: особенно первая! Через не-

сколько минут все было кончено. Мальчик ушел: худенький, грустный, словно вырос на десять лет. А потом я ее встретил уже здесь, внизу.

— Отлично, вы свободны. Магда Мэй, — сказал председатель: — Вы припоминаете только что приведенный эпизод?

— Да, — ответила та беспомощно: — Только я не постигаю: какая связь.

— Это случилось в ту субботу?

— Кажется.

— Что вы испытывали когда стояли в парикмахерской?

— Он вопил, словно его режут, ведут на заклание, предают... и вдруг посмотрел на меня. Обыкновенно его глаза полны надежды, веры, покоя: он знает, я всецело на и люблю его. А тут он наконец понял: я не могу или не хочу спасти его... и примирился. Земная, смертная, покорная тень легла на его лицо. Я почему то подумала: «Если есть Бог, Он должен его сейчас слышать». Потом мы ушли и он относился ко мне по новому: критически и как то покровительственно.

— Советую больше не забывать этого происшествия, — строго попросил Ауэр. — И в ту же ночь вы переменили цвет?

— Да.

— Покажите отличительный знак.

— Но г-н председатель...

— Вам известен устав?

Не возражая больше, она медленно растегнула кофту, еще что-то, и взорам собравшихся предстала ослепительной белизны грудь с длинным, розоватым, нежным соском.

— Жорж Одойл, — возвестил председатель.

Одойл оказался чахлым существом, невзрачной наружности и неопределенного возраста: между 38 и 50 годами.

— Я возвращался домой собеем: 7-ое Авеню. Вы

знаете эти часы после работы: поезда набиты до отказа, не шевельнуться, не передохнуть. На Times Square, вместе с табуном серых мужчин и несколько более нарядных женщин, в вагон протиснулась девушка: то самое, о чем я мечтал всю жизнь. Темная, со светлыми глазами, сочетающая в своем лице, в полнокровных губах, свежесть, целомудрие и полуосознанную жажду чувственного рая. Мы оба держались за поручни, что в центре: моя рука возле ее, обтянутой в тесную, белую перчатку. Мне чудилось: слышу треск электрических искр, выделяемых нашей кожей, насыщенной до отказа энергией с разными знаками. Сердце стучало упоенно: «Она, не она, она, не она»!.. Украдкой ею любовался. Она не смотрела мне в глаза, только иногда поводила головою, будто гладила взглядом мой лоб и волосы. «Она, моя судьба, — решал я: — Держись, не упусти счастье»... А поезд уносило из под ног, лампы мигали; напряженные, сдавленные, мы летели под землю, в ночь, в небытие. На 96 улице мне следовало пересечь на Вгонх, но я остался. Между тем, кругом, толпа начала редеть, опростались места. Она устроилась в одном углу, я в другом, насупротив. Пробовал на нее глядеть. Вначале близость наша, эфирная, все еще продолжалась, но постепенно дурман улетучивался, падал, словно уровень воды, когда образуется течь. Мне даже помешалось: она ерзает, отстраняется от моего назойливого взгляда. На 168 улице девушка вышла: мы поднялись вверх в том же лифте. Она бойко застучала каблучками в сторону Medical Centre. Я не отставал. «Сейчас или никогда, никогда или сейчас», — шептал я, страшась ее подчеркнутого неприступного вида. Нагнал: удивленно, высокомерно приподняла бровь. Я струсил и пропустил удобное мгновение. «В конце концов не свет клином сошелся, — по обыкновению успокаивал себя. — Завтра могу встретить даже получше. Кстати, я не брит и денег мало, последние числа месяца»... А сердце бешенно стучало. Замедлил шаги: вот она, род-

ная, за плечом... Но тут она гневно рванулась ко мне, хотела что-то сказать, но передумала и торопливо перебежала на противоположный тротуар. Я сдался, отдуваясь, как человек который чудом спасся от смертельной опасности, повернул назад к себею. А на утро проснулся черным.

— Отличительный знак?

Жорж Одойл неловко засучил одну штанину и показал присутствующим свое колено: там зиял белый, ровный, ослепительный кружок, величиной с персик.

— Садитесь, — ласково сказал Джэк Ауэр. — Теперь мой черед! — и перегнувшись через стол к Бобу Кастэру неожиданно быстро и страстно заговорил, не обращая внимания на остальных членов Союза:

— Мне было 26 лет. Я кончил Princeton и имел возможность попасть в фирму «Братья Лурье». Но душа не лежала к страховым полисам. Я отдался любимому занятию: измышлял положение, в котором желал бы или мог бы очутиться... а затем, логически развивая события во времени, следил куда это заводит моего воображаемого героя. Иначе выражаясь, я занялся литературой. Я писал с большим напряжением и очень мало. А то, что удавалось закончить, не находило сбыта на рынке. Но несколько близких мне по духу друзей ценили мой труд и находили его осмысленным. Впрочем, раза два, в шутку, я словчился сфабриковать по рассказу, «как все»: с девушкой и сексуальной слезой, в бесцельных диалогах... «Да, — сказала она и повела плечами. — Нет, — ответил он, закуривая трубку»... То что наши редакторы называют human: почти на пороге птичьего двора. Эти рассказы охотно купил модный журнал с большим тиражем: за трехдневную работу мне предложили куш, равный 6-ти месячному окладу опытного грузчика или честной машинистки. Четвертый год уже я писал большую вещь, не то роман, не то поэма: там скрещивались все известные мне противоречия нашей цивилизации и указывались возможные пути их

примирения. Я отнес эту почти законченную книгу знакомому издателю. Отдав должное моим талантам (во множественном числе), он затем откровенно сознался, что не одобряет моего замысла: вряд ли я найду охотника на такой товар. И во всяком случае, успеха произведение иметь не будет. По его мнению, книгу следует разбить на два отдельных романа: немного укоротить, кое что добавить и главное ввести обыкновенную любовную интригу. Возмущенный я отказался. Приближалось Рождество. Европа безумствовала. А Нью Йорк готовился с честью встретить этот полухристианский праздник. Благодаря войне у всех появились лишние деньги. В магазинах нельзя было протолкаться. Рвали из рук все, что можно зажать в пальцах, ощупать, взвесить, укусить, поднять, унести. Даже на духовные ценности поднялся спрос: очереди выстраивались у кинематографов и церквей... «Песня Бернадетты» Верфеля бойко продавалась. У меня не было денег. Чудом я уплатил за квартиру, но телефон, газ, электричество... Я боялся отдать белье в стирку: прачешная у самого моего дома, когда прохожу мимо, старая еврейка высовывается в окно, орет — «Мистер, готово»... Я уже 6 недель не стригся: да, да, 70 центов. Голодать в точном смысле не случалось: в Манхэттэне кажется не голодают. Но ежедневно две пачки папирос... это не по карману. Вы знаете что такое праздник для тех, кто не может принять в нем участие... Они чувствуют себя всеми покинутыми, преданными, проклятыми. Обросший, грязный, без подарка, вы не можете поехать к друзьям, даже если они искренне приглашают вас. Я слонялся по городу без цели, на разные лады перебирая все то же: надоело, возмутительно, я имею такое же право, как и остальные, или даже большее. Одеться, есть индюшку с каштанами, пить вино, обнять девушку. И тогда я соблазнился: в тоталитарных государствах казнят, в свободных подкупают... Стоит вырвать с мясом 3-ью и 5-ую части, отрезать вот эти и те главы, кое что добавить,

ввести невоздержанную бабенку, и у меня будет социальное положение, имя, средства, женщина. «Они толкают меня, пусть»... Я позвонил издателю, мы встретились и я тут же получил аванс. В праздник по Бродвею еще один джентельмэн в чистой рубашке и темном костюме, намаженный, вел под руку хохочущую, милую барышню. А на утро я проснулся черным: будто вся кровь моя перегорела, а тело обуглилось. Потом я встретил Фрезера и мы вместе заложили основание этого союза. А вот мой отличительный знак...

Председатель поднял прядь длинных волос и обнажил свое ухо: оно было перламутрового, болезненно белого цвета. Звякнув колокольчиком, Джэк Ауэр продолжал уже другим, официальным тоном:

— По нашему закону, Артур Фрезер, с которым вы пришли сюда, не должен выступать сегодня. Что же касается Генерального Секретаря Мостицкого, то семейная драма помешала ему принять участие. Посему, — любезно осклабясь в сторону Боба: — Дорогой друг, хотите присоединиться к нам? Присягнуть уставу? Иметь те же преимущества и нести те же обязанности?

12. За и против

— Это замечательно, — начал Боб Кастэр в свою очередь вставая: — Господа, должен сознаться, это превосходит все мои мечты. Ну конечно, мы будем вместе бороться. Друзья, из ваших свидетельств явствует одно... Как только мы изменяли собственной сущности: своему заданию на этой земле, что ли... так сразу сгорали, теряли облик, цвет. Господа, мы наказаны потому, что не послушались внутреннего голоса, когда Дух говорил и толкал нас на дело, ради которого быть может родились.

— Если вы такой умный, — раздраженно прервал Джэк Ауэр — потрудитесь объяснить, отчего избрали нас семерых? Неужели только мы переступили этот закон?

— Почему? — откликнулся Боб Кастэр и запнулся. — Почему? Да конечно не оттого, что мы хуже других. Следует предположить, что мы избранные. Бог поражал проказой не всех отщепенцев. «Почему только нас, а не остальных провинившихся»... это, извините, глупый вопрос, обывательский. Во всяком случае, теперь положение меняется: следует найти причину «их» благополучия, несмотря на ежеминутное отступничество. Здесь, вероятно, ключ: они ежесекундно отрекались от своей основной темы, а мы до поры до времени держались! Ясно, мы обязаны сражаться за скорейшее, полное возвращение к первоначальному облику. Тут скрещиваются интересы целого общества. Наш опыт, наш недуг должен быть учтен другими: они хотя и не почернели, но внутренне, бесомненно, проделали тот же путь.

— Видите ли, — сказал председатель, мы готовы бороться за духовное очищение. Но следует быть рассудительными и примириться с некоторыми внешними фактами: поскольку мы черные. мы негры.

— Никогда! — вскричал Боб. — Ошибка. Я не темный, Может быть, именно отказываясь признавать очевидное, я выполняю священный долг и тем самым удостоюсь награды. Я требую принадлежащее мне место в мире во всей широте и полноте. Залезать в подвал, в монастырь, в катакомбы... это не моя тема. Да будет вам известно: крота сотворили зрячим. Он жил вместе с другими грызунами. Но вечные распри с хищниками устроили его, он решил зарыться в землю. «Какая разница, — думал он, — я буду лежать в дыре и чувствовать себя ближе к Творцу, солнцу и вселенной, чем те, на поверхности, в своей лютой вражде и междоусобице». Вы знаете что произошло: он ослеп. Такое может приключиться и с нами: приобщась к атрибутам негритянского быта, мы незаметно превратимся в черных. Послушайте, кто родился с парой глаз, даже если их ему выколят, должен сохранить повадки зрячего. И самое главное: я влюблен.

Очень важно. Я проплыл тысячи миль по пути совершенной любви. Я надеялся вылепить то, что на этой земле может быть еще никому не удавалось: счастливую, ничем не разбавленную, завершенную любовь. И на последнем круге, почти у самой цели: бац, катастрофа. Вот я лежу на подобие нового Иова и почесываюсь черепками, а мое богатство превращено в пепел. Ее зовут Сабина, и я рассчитываю, что на этой земле она еще обнимет меня, подлинного, кого избрала. Я буду неистовствовать: доктора, адвокаты, знахари, ведьмы, алхимики и жулики. Я собираюсь продолжать жить в привычной обстановке: дом, квартал, знакомые, работа, наконец плата за труд... Внешние условия не менее важны чем оболочка, покровы: они так же уводят к самому центру человека. Я добьюсь официального признания: соответствующие инстанции выдадут мне диплом. И вот я думаю: в этом направлении удобнее хлопотать сообща! От имени целой группы: взбудоражить прессу, мобилизовать общественное мнение.

— Наш устав запрещает всякие юридические домогательства, — заметил председатель.

— Но почему? — изумился Боб. — Это предательство.

— Мы христиане и ценим порядок, культуру, — объяснил Джэк Ауэр. — Смекните, в какое время мы живем. Цивилизация крошится, тает, корабль погружается в воду и валы сумрака захлестывают последние маяки. Где устои? Религия? Бог? Мораль, верность, брак? Все пошатнулось. Нынче легко менять убеждения, веру, жену, профессию! Убийство — безусловный подвиг, а честность диктуется бессердечием. За что ухватиться, где компас? Только одна точка, финальный ориентир: раса. И вы стремитесь капнуть яд сомнения, разложить незыблемый атом: черный превратился в белого, белый в черного. Ничего постоянного больше нет: конец, точка. А между тем народы воюют: решается

судьба ближайших столетий. Но что вам до того: вы заняты проблемой спасения собственной личности.

— Аргумент лицемеров или тупиц, — отмахнулся Боб Кастэр. — Старая песенка. Римские патриции хватали за полу апостола Павла и шептали ему приблизительно то же. Англичане говорили это всем колониальным народам, добивавшимся освобождения.

— Кроме того, — устало заметил Ауэр, — мы многое уже пробовали. Обращались к докторам, они беспомощны...

— Вы шли к дерматологам, а надо специалиста по железкам внутренней секреции...

— Пробовали и Вашингтон, — продолжал председатель: — Нам ясно дали понять, что это не кстати. Решительно намекнули: «негласно, полуофициально, мы готовы смотреть на ваше уродство сквозь пальцы, не станем преследовать и даже постараемся в порядке частной инициативы помочь, но если вы только начнете шуметь, поставите вопрос принципиально или, не дай Бог, завопите о поправках своих правах, то мы, к сожалению, будем вынуждены без промедления стереть вас с лица земли. Не забывайте: идет эпическая борьба с фашистским гадом и требуется согласие всех сил нации. А среди этих сил имеются и явно враждебные вам»...

— Вздор, — не выдержал Боб. — Фашизм? Чтобы тягаться с гадом, не обязательно летать над Берлином и Токио. Мы не имеем возможности реализовать себя. Нас заставляют отречься от самой сущности, превращая в шутов верхом на саксофоне.

— Ребенок, — сказал председатель. — Учтите соотношение сил. Поверьте моему такту и опыту.

— Я верю только личному опыту.

— Но они убьют нас: подколят из за угла и вся тема исчерпана. Образуется сплошной фронт: от масонов до Ку-Клукс-Клана!

— Человека трудно убить, он бессмертен.

Поднялся ропот... Безответственный максимализм.

Все испробовано. Кроме того, опасно рисковать пусть малым, что с трудом удалось уже отвоевать, во имя такой цели как возвращение к далекому, утасяющему прошлому. Они устали и больны.

— Ну тогда, извините, гусь свинье не товарищ, — даже повеселев сказал Боб Кастэр. В эту минуту ему верилось: о, еще далеко не все потеряно. «Сабина, Сабина, ты меня любишь, ибо воистину меня стоит любить»... — Клянусь, братья, — продолжал он с настоящим подъемом: — Я не сдамся. Я белый и влюблен. Это дело моей жизни. Живой или мертвый я верну потерянное. Даже если предстоит носом продырявить стенку, будь она из кремня или картона, все равно! — он вдруг рассмеялся: — Как вы полагаете, джентельмены, мертвые мы посветлеем или сохраним этот грим? Вы об этом подумали? — Он встал и покровительственно похлопал Джэка Ауэра по животу: — Вы кажется разжирили на председательских хлебах. Господа, я исчезаю. Когда добьюсь существенных результатов, дам знать. Не требую благодарности, — и, развязно помахав рукою, направился к дверям.

— Сумасшедший!

— Фантазер.

— Вы погибнете, — кричали ему в догонку.

— Смиритесь и возвращайтесь назад.

Отмахиваясь от докучливых, мнимо дружелюбных советов и предупреждений, — голоса доносились нечетко, повторенные эхом, подобные рыку плененных зверей или стонам осужденных грешников, — Боб, осторожно, в потемках, пересекал каменистый дворик. В голове шумело, плечи брезгливо сутулились: наступала пора скуки, безразличия, упадка сил. Сейчас он выйдет на улицу, зимний вечер, простудный холод, слякоть, один и, все таки, что ни болтай, — черный. Сколько раз уже приходилось барахтаться в этой мрази тоски, «пустого», лишнего времени, когда надо подождать: жизнь начнется только завтра или через месяц, — с телеграм-

мой, телефонным звонком или встречей! Он тогда был здоров, теперь прибавилось другое. Но разница не так уже велика. «Болит ли один зуб или два, ощущение почти то же», — нашел Боб Кастер определение и улыбнулся: горько, самодовольно. «За взгляд Сабины... а затем раствориться в океане, плыть и захлебнуться. Стыдно, я мужчина, а не суслик», — свирепо стиснул он челюсти. Сзади вдруг слышались торопливые, мелкие шажки: Магда. Положив руку на его плечо, она горячо зашептала:

— Вот устав, прочтите на досуге. Раз в месяц, первое воскресенье, мы собираемся и обязаны облобызать каждый каждого.

Боб ласково погладил ее по впалой щечке, небрежно пообещал:

— При случае я обязательно воспользуюсь любезным приглашением.

«Она готова влюбиться в меня. А может ее подослал председатель: Далила. Вернее и то, и второе, и третье, ибо всегда есть третье, ускользающее». С трудом нашел дверь в парикмахерскую. Цирюльник хлопотал над поздним клиентом. Бобу померещилось: они перемигнулись, насмешливо, неодобрительно. Так улыбался он сам на Монмартре, когда встречал педерастов, лесбиянок или других несчастных, обиженных злыми стихиями. «Я где то видал этого субъекта», — вдруг подумал Боб, оглядываясь: громоздкая туша, салфетки, мыльная пена... лица не рассмотреть. Парикмахер угрожающе оскалится.

Снаружи было пронзительно мерзко: остров, зимой, среди океана. В руках Боб все еще держал страничку устава... При свете фонаря он бегло ознакомился с адресами членов союза. Судя по списку, все жили выше 110 улицы. Дождавшись порожнего такси, Боб Кастэр

помчался вверх по Lexington Avenue. На уровне 108-ой, вышел. И через пять минут, молодая, грудастая негритянка уже стелила ему чистое белье на широкую, низкую деревянную кровать. Украдкой знакомясь с новым жильцом, она осведомилась, — где чемоданы?..

— Их привезут, — пообещал Боб. — Какой однако шум, что здесь дансинг в доме?

— О, это мистер Болль, у него гости, — черная грузно захохотала: повидимому одно упоминание о Мистере Болле уже веселило ее.

13. Путь

Миссис Линзбург любезно согласилась выдать чемоданы Боба. Но заставила Сабину выпить чашку кофе и дружески расспрашивала о симптомах внезапной болезни: кто будет оперировать ее жильца, и где... Знакомый врач, очень хороший хирург, вырезал Миссис Линзбург матку: совсем не дорого взял.

Сабина органически не выносила лжи. И вовсе не по моральным соображениям. В этой ее боязни было нечто ущербное, ублюдочное. Так люди пугаются высоты, и стоя на веранде четвертого этажа испытывают головокружение, тошноту. Ложь создает искусственную пустоту, вакуум, — и надо, подчас, иметь мужество, отвагу, чтобы выдержать это отрицательное давление.

Сабине только недавно минуло 28 лет. Все ее существо было задумано — для любви. Для любви родилась, зрела и была подогнана. Этим даром ее отметили. И если Бог, подразумеваемый в Евангелии, имеет хоть какое нибудь отношение к ее пониманию любви, то Сабина, вся, целиком, по заповеди, принадлежала Ему, им жила. Только в праздничном, возвышающем страдании могла двигаться, дышать полной грудью. В перерывах же была ночь, пустые, темные провалы, сон, скука, сумбур и мысли о самоубийстве: упадок сил, нервная депрессия.

Раз, после одного из ее бурных, неудачных, выдуманных, романов, она погрузилась в такую хандру, что

муж, по совету добрых людей, повел ее к психоанализу.

Психоаналитик попался старый, добрый и совестливый; у него в ту пору что-то неладилось в собственной семейной жизни, и он, послушав Сабину с четверть часа, обыкновенно начинал повествовать о себе, жалуясь и недоумеая. Сабина, чуткая, догадливая, очень быстро усвоила метод и повздилась сама истолковывать его конфликты, давая советы, утешая, объясняя ключевые позиции и сны, выслеживая самые трудные ассоциации подсознания. Это ее развлекало и в самом деле поправило: только дороговизна лечения помешала ей проделать полный курс.

Так, с грехом пополам, она преодолевала темные карнизы «пустой» жизни: как особого вида рыбы, полумертвые, переползают из одного резервуара воды в другой, — задыхаясь, на брюхе.

Зато в полосе влюбленности, Сабина, как никто, умела сполна взять, осознать, упиться своим горьким счастьем... состояние напоминавшее о рае, о вечном — несмотря на присутствие муки (или, может быть, именно благодаря этому). В таких случаях, заявляла она, недопустимы темные места, дни, будни... Каждое мгновение осмысленно — праздник полноты жизни. Величайший позор эти трясины, провалы: прыгаешь с одной конденсированной кочки на другую, заполняя скучный досуг книгой, синема, картами. Любовь тем велика, что уводит сразу в бесконечность: нет больше времени — миг, час или годы. Всегда и повсюду чувствуешь присутствие своего друга: беседуешь с ним, делишься, обмениваясь соками души. Нет больше сомнения или скуки в сердце, ибо основное великолепно, нерушимо: ты любишь, тебя любят... и в сравнении с этим прочее — мелочь! Грех против любви — уныние, грусть. Здесь Сабина перекликалась с апостолом Павлом. Человек, знакомый с внутренним христианским миром, легко мог узреть схожие черты в опыте доступном ей: в другом плане Сабине открывалось подобное же.

И разумеется жизненно это всегда кончалось катастрофой. В радениях святых постоянно соприсутствующим Другом, Утешителем, являлся Христос, совершенный, неизменный, воскресший и воскрешающий; тогда как в данном случае — смертные, слабые, а подчас и подлые люди. В этом заключалось главное противоречие. Впрочем, и особая сладость: так многие предпочитают восемь часов подвизаться в рулетку и выиграть мелкую сумму... чем наверняка заработать ее у станка.

Первые увлечения Сабины, до замужества, были в общем оправданы и удачны; но следов исчерпывающей убедительности они не оставили. 20-ти лет она вышла замуж. Мужа она любила. Но тут произошло злое чудо, жестокое и логичное по своей неожиданности. Страстная, горячая, веселая — жрица! — она оказалась: холодной, не совсем нормальной в этой игре. Другая бы сдалась, несчастная, подобно многим, угомонилась бы: уйти в работу, детей, религию, партию, филантропию. Кругом мир изнемогает от бед и преступлений. Можно найти удовлетворение в полезной деятельности. Но Сабина не клюнула на такую приманку. Чувство неполноценности, ущербленности возмущало ее, как, бывает, мысль — о смерти, о грехе. Не уступила. Подобно плененному зверю кидалась всем телом на стальные прутья решетки, разбивая себе лоб и грудь в кровь.

Их брачные ночи, внешне — сплошное, плотское действо, на самом деле являлись героической, тяжелой борьбой не на живот, а на смерть, — с непоколебимым, ледяным, страшным ангелом. Отчужденная, беззвучно плакала, роняя крупные, холодные слезы.

Видя это неподдельное страдание (а может чувствуя свою вину), муж, человек простой и доброжелательный, предоставил ей полную свободу выбора.

И Сабина пошла на это. Так как чисто плотские отношения были не совместимы с ее воспитанием и строем души, то приходилось «выдумывать» очередного героя романа, поднимая его до нужного уровня. Отрицая внешние факты, находя им всегда благородное

объяснение и оправдание... Глядела лучистым, зачарованным взглядом существа зарвавшегося, проигравшего уже целое состояние (упорно бросающего на тот же номер последние жетоны, не слушая друзей, рассудительных соседей, даже голоса крупье, отделенного от всех — даже от самого себя — непроницаемой завесой). И чем хуже и площе был партнер, тем больше она привносила элементов мечты, — и тем злее ждало возмездие. Что, впрочем, не мешало ей бороться, рьяно и настойчиво, за свою сексуальную полноценность. Надо только допустить, что это важно, серьезно, что она должна... — (ну, художник, ученый, исследователь стремится закончить начатый труд), — и тогда все эти потуги и невольные гадости станут разумными.

14. Путь (продолжение)

На четвертый год замужества Сабина встретила студента-испанца и влюбилась без памяти (значит: с первой минуты должна была «выдумать» его). У испанца оказалась невеста: судя по фотографии, очень красивая, молодая англичанка. И именно это обстоятельство, в самом начале, подтолкнуло Сабину: «Если ей стоило, значит и мне стоит», мелькнула мысль. Только мгновение: самое интересное, что, несмотря на силу иллюзий, Сабина ухитрялась все, даже болезненно полно, запоминать, отмечать, но осознавала это позднее.

Она была в расцвете молодости: 24 года... И стремительно шагнула навстречу. Решительный бросок тела и души, без оглядки, без колебания и взвешивания (затем, обыкновенно, воцаряется старческая мудрость, усталость и «постолько-посколько»).

Роман этот кончился ужасающим провалом. Слишком ничтожны были его возможности (или она чересчур многого ждала). Тянулась без оговорок, отдавала все мысли и соки, посвящалась целиком... А когда прозрела, обнаружилось: прыщеватый увалень, мечтающий о карьере, о богатой невесте и прочем. Вдобавок,

еще: импотент. Как она могла не разгадать его ничтожества, потерять себя, забыть мужа, зачем полезла на рожон, помогаясь, настаивая. Бррр... К тому же Сабина забеременела, совершенно бестолково и нелепо, принимая во внимание трудности их двух-трех любовных полувстреч. Ряд гнусных совпадений ошеломил Сабину, если не своей нравственной, то хотя бы эстетической нечистоплотностью. И она уступила. Отказалась. Сдалась. Не отчаяние, а равнодушие. Как очнулась после операции (врачу платил муж), так, словно анестезированной, обледеневшей изнутри, и осталась. Боясь, — стыдясь? — мужа, убежала из дому, при довольно драматических обстоятельствах.

Психоаналитик-оппортунист не советовал ей окончательно порывать с мужем. Поступила на службу. Записалась как *Air Raid Warden*. Заполняла анкеты в добровольцы от Красного Креста или УНРРЫ. Так обанкротившийся миллионер занимает место скромного клерка, выплачивая из скудного жалования долги, и служит, одновременно, примером отрицательного и положительного.

Тогда она встретила Боба Кастэра. Как в учении индуистских мудрецов. Сперва Отвага: подвижник хочет познать Истину. Но она не раскрывается: это второе состояние — отчаяние... «Несмотря на все духовные усилия, я ничего не достиг»... И когда разочарованная душа отворачивается в другую сторону, — приходит Отрада: Истина здесь, во всей красе и несложности.

Боб Кастэр представлял почти все начала, которые Сабина искала и выдумывала в пору предыдущих увлечений. Физически ладен; внешне спокоен, сдержан, только подчеркивая этим творческий, внутренний жар. Темные, гладкие волосы при светлых, — между зеленым и синим, — глазах. Увлекался философией, живописью; но слово: *intellectual*... не подходило к его атлетическому сложению. Мягкий, вежливый, но всегда на отлете, — в стороне несколько, в крепости, за оградой. Чувствовалось, еще минута и мосты, соединяющие его с окру-

жающим миром, могут резко подняться: превратится в чужого и далекого. Таким она его восприняла: образ соответствовал предыдущим поискам. И в этом заключалось горе. Ибо крепче всего притягивала ее неопределенность, загадочность. Вот почему Сабина часто сходилась с хамами и дураками: они казались ей носителями тайны (к тому же: «не может человек быть ничтожеством, если обратил внимание на меня», — попадалась она в собственные силки). Боб же не оставлял места для фантазии. Он сам себя разгадывал, объяснял, осознавал. При всей сложности внутренней жизни, он ухитрялся сохранять простоту, точность и даже однообразие.

Сабина постоянно сравнивала предыдущий свой опыт с этим и ей мнилось: она слишком спокойна, рассудительна, недостаточно любит — обманывает, вводит в заблуждение. Единственный раз, когда образ соответствовал желанию, она трезва: тут нет места для чуда! В довершение, она с Бобом начала переживать все, что полноценной и здоровой женщине дано пережить на этой земле. Когда-то, в грезах, Сабина себе представляла: «Это, должно быть, словно небо и земля сходятся вместе... Я бы стала собачкой того человека». Тут тоже ждало ее разочарование, — как всякая реализованная мечта. Небо и земля соединяясь не всегда оставались небом и землей. И в собачку его, — как предполагала, — она не превратилась (может быть потому что Боб не пожелал).

Обыкновенно, первые ее впечатления от влюбленности были какой-то сплошной «весной», вальсом, или в этом роде. С Бобом начало она как-то упустила: не заметила, проморгала (она, впервые в жизни, тогда работала: просыпалась в семь, возвращалась усталая, рассеянная). И грызла себя, упрекала: дает Бобу меньше чем должно, даже меньше чем другим. Ибо, по сравнению с настоящим, прошлое выигрывает: настоящее еще подвержено изменениям, переоценке, а прошлое уже вне времени, незыблемо, и все таки утрачено. Так,

страда, мучаясь, она откатывалась в сторону враждебности, бунта. Ссоры их непосредственно Боб часто вызывал, но подоплекой являлись именно ее сомнения, колебания. Это его изводило. Долгим, пронзительным, виноватым взглядом присасывалась к нему, изучая, сравнивая, проверяя. В прошлом это означало: любит ли он... Здесь надлежало читать: люблю ли я, люблю...

15. Новоселье

Боб видел из окна своей комнаты: такси медленно подкатило к подъезду... Неповторимо знакомая, легкая, женственная и ребячливая, Сабина спортивно выпрыгнула из еще тормозившей машины. Шоффер помог выгрузить два чемодана. Этот желтый, в полоску, сундучек Боб купил в Женеве — при совсем иных, иных обстоятельствах. Солнце, горы и сколько возможностей в будущем! «Que de chemin parcouru», подумал он и усмехнулся: эту фразу преподнесла ему однажды парижская проститутка. Боб, без пальто, спустился вниз.

— Как все уладилось? — спросил, подразумевая хозяйку Линзбург.

— Ах, глупо. Пришлось лгать. Она хотела знать в каком госпитале ты, и что за операция. Если аппендицит, то с гнойным ли перитонитом...

В ту минуту, когда он вышел к Сабине на крыльцо, в светере, застенчиво сутулясь, и она увидала его глаза — усталые, виноватые и, все же, такие озорные, отважные, с волчьей искрой — вопросительно глянувшие (с нежностью, но и с готовностью, если понадобится, немедленно все обратить в шутку), ее сердце вдруг изнеженно замерло. Упасть, крикнуть, обнять его ноги, молить о прощении. Но вместо этого она, почему то напряженно и неестественно улыбаясь, подробно рассказывала о встрече с Миссис Линзбург.

Боб принялся раскладывать вещи; она помогала. И вскоре, как ни странно, несмотря на исключительность положения, оба почувствовали род успокоения — почти

физическое облегчение. Бобу, в общем, не могла казаться обидной мысль, что она его т е п е р ь не любит. Сабине же вдруг открылось, чем он был для нее в прошлом! Большого счастья не нужно. И вот ее обокрали. Обманули. Сыграли адскую шутку: подменили его. Полнота была в прошлом: еще неделю тому назад. Да, сколько вздорных, напрасных обид. Но ведь и себя не жалела тоже. Сегодняшняя боль другого порядка: те дурные укоры и сомнения исчезли. Они вдруг помирились, сошлись (хотя бы — в позавчера), и это рождало гордость, удовлетворение: нищие, вспомнившие свою богатую родню.

Решили передвинуть шкаф, по иному приткнуть кресла, радуясь этим хозяйственным заботам. Они давно мечтали поселиться в такой комнате и остаться — на месяц, на год, быть может навсегда. Сабина, впопыхах, даже брякнула:

Надо все устроить получше, может и я сюда перееду! — сказала и ужаснулась.

Боб помылся, почистился и когда вернулся из ванной то нашел на столе два прибора, большую тарелку с любимым, холодным ростбифом и вино. Было ощущение: давно уже — века! — не ел, не пил, не спал. Как он измотался, а ведь только начало кампании и нельзя трогать резервы. Выпив и закусив, он, по обыкновению, несколько повеселел. Сабина тоже ела: маленьким ртом, энергично и быстро жуя. Его всегда умиляло, как изящно и незаметно она это делала, потребляя больше пищи чем Боб. Иногда, чуть поворачивая лицо, Сабина взглядывала на него, сбоку, — мягко, растроганно, изучающе, — но тотчас же отводила глаза.

«Нет сомнения, я черный и противный», — догадывался Боб.

И снова они деловито мазали, глотали, чокались, бессознательно растягивая время обеда.

А когда убрали со стола, Боб, испытывая злую радость, словно ковыряя в ноющем зубе, заметил:

— Ты вряд ли здесь ночуешь?

Сабина шарахнулась, скривилась. Передохнув, тронула рукою его плечо, виновато спросила:

— Ну расскажи как ты жил сегодня? Где был, что узнал?

— О, это длинная история. Я слишком устал теперь. Когданибудь в другой раз — объяснил он. Потом, однако, продолжал: — Сущность такова... Я попался, и надо спастись. Не теряю надежду: пока дышу, буду бороться за свое возвращение. Но это очень сложно. Вероятно даже за большие деньги не сразу найдешь людей способных помочь. И доктора, адвоката. Я сегодня понял до чего трудно и опасно! Понимаешь, весь строй жизни, вся ее биология и торжествующая гравитация против нас. Я говорю «нас», так как нашлись еще люди, пострадавшие на мой манер, среди них одна дама.

— Нет? — вскричала Сабина, тоже потрясенная этой новостью, словно прикоснувшись к таинственному, запретному.

— Да, да, — торжествующе подтвердил Боб Кастэр. — Я их сегодня видел. Они жалкие. И боятся: их напугали. Вся реальная сила общества, весь государственный аппарат: полиция, законы, церковь... против нашей реабилитации, по разным причинам, часто даже гуманитарным и высоко справедливым. Единый фронт от иезуитов до франк-масонов, включая и Ку-Клукс-Клан.

— Но почему...

— Это долго объяснять. Смысл: «в нашу эпоху, когда мир рушится, поколебать еще последний, незыблемый свод: расу... преступление, легкомыслие, чреватое не подающимися учету последствиями». Я пока один против всех власть имущих: подлых и благородных, умных и дураков, бескорыстных и жадных. Есть довод, который мог бы сыграть, думаю, решающую роль... в мою пользу.

— Какой? — осторожно осведомилась Сабина. Они сидели рядышком на диване и со стороны могло казаться: молодая, воркующая пара.

— Если я сделаю ребеночка, это будет расовым экзаменом... Представь себе младенец: черный или метис. Тогда нету пути назад. А вдруг получится белым... Ты понимаешь? — и глаза Боба засверкали творческими огоньками. Эта мысль ему предстала внезапно и он испытывал чувство торжества, знакомое вероятно всем крупным и мелким изобретателям.

— Невозможно! — вырвалось у Сабины.

— Почему? — подчеркнуто сдержанно.

— Ты помнишь, как мы опасались этого раньше, когда воистину любили друг друга. А теперь... Как взвалить на себя такую ношу? Точно идти на смерть.

— Ты права, — согласился он. — Борьба за мое восстановление не должна влиять...

— Кстати, у меня уже запоздание на несколько дней, — вспомнила Сабина.

— Не беспокойся. Нет оснований. У тебя ведь часто перебои, — по старому, нежно — покровительственно, успокаивал он: слишком большой путь проделан ими и нельзя сразу произвести все необходимые перестановки.

Боб Кастэр лег, — незнакомый профиль дивана, — она примостилась рядом. Потушили свет: в темноте вспыхивал уголок его папиросы. Когда-то, в минуту смешной ссоры, он сказал: «мы на собственных похоронах»... Теперь он молчал. Сабина робко тронула его за плечо, потянула к себе. Плечо не поддавалось, она мягко продолжала его теребить, — вот он медленно начал поворачиваться к ней: еще мгновение... Боб опять чувствует: все рассуждения ложь! Нерасторжимо нуждаются друг в друге... Тогда он вспомнил один эпизод из ее прошлого: в поезде, — колеса стучали.

Его плечо стало тяжелым и чужим. Она ощутила внезапную перемену и сразу сдалась. С печалью и любопытством, осведомилась:

— Что случилось? О чем ты подумал?

После томительного молчания: — Я представил себе твой поезд. Колеса стучали, мешали.

Ее отбросило к стенке. Сжалась, стихла: маленькая, слабая, полумертвая от тоски.

— Не волнуйся, — искренне пожалел он Сабину: — Надо искать выход, разрешение.

— Но как? — детски-умоляюще.

— Можно предположить: только раз подлинная любовь, наша с тобой. Все остальные от слабости: предать тех, отказаться.

— Этого я не могу, — подумав, решила. — Мужа я любила. И еще одного, девчонкой: жалею, что мы не были близки...

— Дорогая, я теперь жалею о тех случаях, когда сближался, а не о пропущенных возможностях. Думаю, и тебе бы пристало...

— Знаю, знаю, — злобно отмахнулась она.

— Другое, — продолжал Боб, — допустить: в каждой очередной страсти мы поклоняемся все одному и тому же началу. Языческая мистерия, где личность отсутствует, являясь только носителем знака, пола, стихии, идеального образа. Для христианина это неприемлемо.

— Не годится, — быстро согласилась она, исходя, очевидно, из многих побочных соображений.

— Имеется еще третье: вера, чудо. И, после встреч сегодняшнего дня, ясно: здесь ключ!

— ?

— Если допустить что основным делом моей жизни являлась эта любовь, то, поскольку она не удавалась, катастрофа, распад, смерть становились неминуемы.

— Да...

— Предав главное назначение, я потерял себя. То же, приблизительно случилось и с теми, почерневшими. И теперь вера, чудо, должны нас спасти.

— Но практически...

Главное не пугайся, — взмолился Боб, как всегда, когда попадал на дорогу ему и еще не совсем продуманную тему. — Бог по любви своей может все. Это и есть чудо. Чудо входит в замысел мира, а мы его ис-

ключаем и ропщем, что не видим смысла. Ум не может постичь тайны. Но душа верит. Надо тянуться за душой. Не сдаваясь долбить стенку мнимой действительности. Таранить без усталости, без страха, не жить чужим умом, отвергать собственный ублюдочный опыт: ведь и курица, не решаясь перешагнуть через проведенный мелом круг, полагает, что здраво учитывает реальное соотношение сил. Мы перешагнем, вернемся в себя, добьемся нашей любви, но уже на иной высоте, когда все нас разделяющее будет чудесно вытравлено.

— Ах, дорогой мой, — вздохнула Сабина, обнадеженная больше звуком его голоса, чем смыслом речи. — Я боюсь. Я ужасно боюсь. Я очень виновата пред тобою. Думаешь: ты изменился и поэтому я разлюбила тебя. А если наоборот? Что если я сперва разлюбила, а потом ты обернулся негром?

Боб вздрогнул. Мысль острым концом ударила его по глазам, хлестнула, и все кругом заколебалось опять. Она тихонько всхлипывала.

— Ну, что-ж, — сказал он, затаив обиду. — Только подтверждает мое впечатление, обе темы связаны: любовь и метаморфоза. Ты ли первая... я ли изменил тебе... Вероятно и то и другое. Значит и ты ответственна, и твой долг принять участие в подвиге. Даже к лучшему. Твоя роль: полюбить меня... и я вернусь. Как в притче о блудном сыне, когда его умыли, одели, накормили в отчем доме: «и пришел он в себя».

— Но как это сделать? Научи меня. Я так хочу любить. Я так была счастлива, когда любила тебя, даже сопротивляясь, бунтуя. А теперь ты такой хороший и достоин любви. И я хочу, но не знаю как... Словно потеряла что-то: почва ускользает из под ног. Меня обокрали. Стукнули по голове. И жизнь моя снова серая, бессодержательная. Мне скучно, давно уже. Я себя ловлю на том, что колу паю в носу. Это конец: раньше я этого не могла делать. Постоянно чувствовала твое присутствие... Пойми.

— Ну что-ж, — сказал Боб Кастэр, ожесточенно. — Помолимся.

Они напряженно смолкли. Потом Сабина встала, зажгла свет, начала собираться. Он не двигался. Случалось и раньше, что ему не хотелось одеваться, идти ночью, в холод, — провожать, затем возвращаться. Лень. Но он пересиливал себя и радовался всегда этой победе над животным началом. Теперь он не пожелал. «Зачем лгать, — думал освобожденно. — Я засну». Если человек, ценой невероятных страданий, шлифует свое произведение, то это называется — художник... Но если от него же потребовать осторожности в отношениях с близкими (скрывать, уменьшать одно, подчеркивать, выделять другое), то он возмущенно будет клеймить себя за неискренность, рабство и трусость.

Боб нетерпеливо ждал: скорее конец. Один, он вытянется, замрет, провалится. «Какое блаженство». Так в любой драме присутствует соблазн открывающихся возможностей удобства, покоя.

16. Двойная жизнь

Рано утром, на Ист 110 улице, просыпался негр. Чистил зубы, подвязывал галстук и отправлялся на службу: целый день покорно и бессмысленно ворочать пакеты.

В группе с Бобом Кастэром работало еще человек пятнадцать: белые — подростки, а цветные, как общее правило — постарше. До 5, иногда до 6, пополудни, продолжалось их пустое, нудное бдение. Случалось, и в это существование Боба доносился отголосок, сигнал из другого мира: то в виде телефонного звонка, письма или подозрительного субъекта, шепчущего драгоценный адрес. Обедал Кастэр где придется, порой в таком ресторане, куда с его жалованием не пристало бы ходить.

Вечером начиналась вторая, таинственная деятельность: общество жуликоватых посредников, небезызве-

стных докторов, темных адвокатов. Среда спасительная для всех обиженных Богом — сексуальных неудачников, потребителей запретных трав, ищущих квотной визы.

Бобу Кастэру повезло. Разыскивая подходящего доктора, он наткнулся на таких уголовных типов, что буквально опешил. Тогда он пустился назад, по собственным следам — наведалься к Поркину, первому своему врачу.

Его не прогнали, к удивлению Боба, даже сразу провели в кабинет, раньше двух-трех, уныло дожидавшихся, пациентов.

Волнуясь, Боб молвил:

— Доктор, почему вам собственно не заняться мною в серьез?

За это время в судьбе Поркина произошли многие изменения. Истек контракт с Юнионом и лекаря, после двадцатилетних безупречных трудов, безболезненно устранили. Кстати совпал и развод с Анитой... Он, вдруг, очутился на том самом месте, откуда начинал: только был уже лет на двадцать пять старше, а на текущем счету — несколько десятков тысяч. Деньги, впрочем, как в прорву, шли на Аниту с дочкой.

— В чем дело? Что тут странного? Вы родились белым и стали черным? И это вас удивляет? И это всех возмущает? — громил Поркин невидимых врагов с такой легкостью, что Боб даже испугался: — Только всего! Редкий феномен? Ах, ты Боже мой. Никто такого не наблюдал. Это обывательская точка зрения. Многие болезни, когда их впервые изолировали, казались неслыханными, ошибками диагноза, лаборатории. Да и не только болезни. Все крупные явления по началу вызывают недоверие. Я очевидно нахожусь перед новым клиническим случаем и сам дьявол не помешает мне выполнить свой долг! — таков был Поркин этих дней.

Приступив к тщательному исследованию, доктор все еще ронял глубокомысленные замечания:

— Основной, первый цвет людской — желтый. Цвет, преобладающий в животном мире. Приспособля-

ясь к внешним условиям, часть развилась в белую, а другая в черную расу. С вами м-р Кастэр произошло нечто сумбурное, под влиянием еще неизвестных нам причин. Неизвестных еще нам. Здесь зарыта собака. Где аномалия? Я хочу ее осветить... Путь человеческой жизни это постепенное темнение. Мы светлее в детстве; потом блекнем и усыхаем. В этом вся история старости и смерти. Не обещаю исцеления. Но буду лечить. Обывателям представляется, что роль врача исцелять. Может в древности это так и было. Теперь от эскулапа требуется иное. Для каждого недуга имеется официально признанная терапия. Меня никто не будет порицать, если я не вылечу сифилитика... Но меня ошельмуют, если я не сделаю ста процентов установленной терапии. То же происходит в суде. Когда то, вероятно, судьи обязаны были вершить дела по правде. Теперь такого судью сошлют на каторгу: он должен руководствоваться законом. Сто процентов законности. Ваш случай ценен для адвоката и врача тем, что не имеет прецедента: какие возможности для людей с творческим даром.

Первое их свидание протекло в сплошном восторге. И доктор Поркин, после ряда анализов, начал применять разные средства, подчас грубые, тут же, впрочем, объясняя причины избранного им пути. В свободные часы Боб сам читал толстые, купленные им по случаю, фолианты: физиологию, судебную медицину... и постепенно стал чем то вроде заштатного профессора.

Формула крови не показала подозрительных отклонений и они приступили к электро-терапии, стремясь потрясти организм, при помощи шоков вызвать общую перемену. Вспрыскивали протеины в разных формах, искусственно повышая температуру Боба. Страшная, все возобновляющаяся агония. Потом врач испробовал промывания крови, переливания. Попутно шло чисто кожное лечение: мази, настойки, уколы, витамины, гормоны.

Боб Кастэр безропотно переносил пытку. Иногда, после особой ядовитости сеанса, он отлеживался у себя

на постели: в темноте, в одиночестве, на пороге смерти, душевной и телесной. Ему чудилось: все кончено, побежден, обречен, казнен. Сдается. Пусть другие делают лучше. Но эта мысль его возмущала своей кощунственностью; и он как то отходил, возрождался: стиснув зубы, снова готов был таранить камень. Ненароком, он сочинил два лозунга, свидетельствовавшие о его состоянии. И в шутку даже собирался нарисовать для них плакаты. «Это был человек, у которого от удачи удваивались силы, а от неудачи утраивались». Еще: «Чтобы победить, надо несколько раз под ряд сделать последнее усилие».

17. Мистер Прайт согласился

Они познакомились в приемной у врача. Признав в Бобе Кастэре человека образованного, не чуждого вопросам философии и культуры, Поркин давно старался их свести: у него была тайная мечта — раз в месяц собирать у себя милое общество и беседовать на отвлеченные темы (давно уже лелеял эту мысль, но Анита сопротивлялась). При первой же встрече обнаружилось, что Прайт не только знаменитый художественный критик, но и юрист: имеет долю в одной конторе на Бродвее.

Боб прочитал несколько его статей в образцовом литературном журнале. Прошлого сезона, — ибо вот уже несколько месяцев как Прайт забросил труд публициста: его это слишком волнует, сердце дает перебои. Да, сердце. Историю своей болезни Прайт начинал издавна... Его пригласили на party; явился первым, смакуя возможные радости (кроме искусства, Прайт еще увлекается дамами). Приятель, дававший party, заканчивал приготовления к ужину и вдруг, застонав, осел в кресло — с пеной у рта. Прайт кинулся искать врача в том же доме; когда вернулся, рачительный хозяин был уже мертв. В тот вечер, впервые, Прайт ощутил острую боль в грудной полости («вот тут»), одышку и голово-

кружение. Клиент доктора Поркина окончательно забросил литературу, изредка только, с прохладцей, навещаясь в контору.

Смышленный, легкомысленный, глуповатый и не без добрых порывов, он, поначалу, заинтересовался Бобом Кастером и довольно энергично взялся за его дело, не требуя пока вознаграждения, — кроме сумм на покрытие расходов.

Они написали бумагу. С обратной почтой пришел ответ: не касается данной инстанции. Составили другую бумагу. И снова отвод. Адвокат обратился к местной администрации. Вежливый, но твердый отказ. Боб смутился, а Прайт торжествовал:

— Теперь, ссылаясь на все эти справки, можно ударить по Вашингтону.

И он уже приготовил нужное прошение, подчас смахивавшее на философскую диссертацию. Так, он утверждал, что справедливое решение по делу Роберта Кастера не только не расшатывает расовых стержней, но наоборот утверждает их святость и незыблемость. Ибо, если гражданин, который выглядит цветным, будет признан белым, то этим самым будет доказано, что раса не является внешним признаком, а метафизической, внутренней величиной.

Но к тому времени на имя адвоката прибыло странное послание, подписанное символическими знаками. Ему и Бобу предлагалось немедленно оставить опасную игру, под угрозой бесшумной и умелой расправы... и ссылка на двух-трех бесследно исчезнувших адвокатов и подзащитных.

Боба это мало тронуло. Для него, гибель в бою, если и была неудачей, то никак не бессмысленной. Но Прайт струсил и сразу отказался продолжать сотрудничество.

— Ах, вы наивны, вы наивны, — бормотал, хватаясь за сердце: он что-то знал и боялся проговориться.

Боб пробовал всячески его ублажать: водил в ночные клубы, спайвал импортными винами... бесплодно.

Только когда нашелся другой адвокатишка, темный субъект, готовый возобновить тяжбу, Прайт, из жалости, уступил и дал бумагам нужное движение. Но делал это лениво: Бобу приходилось непрестанно его подгонять.

По вечерам Боб Кастэр иногда развлекался: наладил себе некое подобие светской жизни. Через корридор соседом его был Мистер Болль (Ники) — черный журналист, французского воспитания. Там, раза два в неделю, собиралось шумное интернациональное общество. Поначалу Боб наведывался туда неохотно (настоячиво зовут, а заснуть все равно не удастся), но постепенно втянулся, находя даже особую прелесть в близости с париями-джентельменами. Всех цветов и наций *intellectuals* (редко белые-американцы: эти старались говорить по английски с акцентом, чтобы сойти за французов или русских. Англо-саксов здесь, в общем, ненавидели).

Сабину Боб изредка встречал. К нему она больше не приходила. «Болит ли один зуб или два — почти все равно», — уговаривал себя Боб. В девятнадцать лет юноша обнимает стан девушки — это чудесное гнездо, разветвление — и думает: «впереди еще много такого и даже лучшего». Перевалив за тридцать, он вдруг замечает, что лучшего совсем не много. Это случается всего два-три раза в жизни (и в прошлом вспоминается как один час или вечер). Тогда он решает: скупой и серьезный, при первой удаче, возьмет, даст — реализует, наконец, все о чем мечтал. Но обыкновенно партнер, который ему попадается, еще не проделал этого пути (или перевалил — ничего стоящего больше не ожидает).

Особая жизненная понятливость и легкость общения (вопреки раздорам) Сабины и Кастэра объяснялись вероятно однородностью их эмоционального опыта... Добрая воля, рубцы и умная, благородная, щедрая усмешка. Это открылось им мгновенно, после первой фразы, улыбки. И частые взрывы подготавливались именно этой их требовательной проникновенностью. А те-

перь все рухнуло. Нелепо: душа отказывается верить. Дурной сон, скучный водевиль.

Сабина звонила почти каждый день. Голос слабый, изнемогающий (внутреннее кровотечение). Порой они сходились в маленьком баре; машина играла бессмысленные до неправдоподобия песни; они сидели до полуночи, Боб честно докладывал о своих передрягах. Потом провожал домой: старого друга. Раз, еще в самом начале влюбленности, она сказала: — Неужели мы когданибудь встретимся и будем беседовать просто как знакомые? — и пропела слова романса: «Как странно, мы только знакомы»... От этой неестественной — и потому вероятной — возможности (так и смерть) они оба ощутили острый, вещий, укол в сердце.

Молча расставались, решая, что благороднее вовсе не видаться: зачем выкапывать дорогих покойников, хоронить их, снова выкапывать. (Кстати: если бы мертвые не разлагались, чем бы люди объясняли стремительность, с которой трупы близких предаются земле?).

Но через несколько дней чувство досады исчезало, великодушно претворяясь в другое; боль казалась радостью, и все чепухой, — по сравнению с даром еще раз взглянуть на ее лицо, потрогать руку, услышать добрый смех. «Это серьезно. Это жизнь. За этим конец, старость, прозябание», — шепчет Боб, но слова не исчерпывают всей темы. «Ничто заурядное, ведомое земле, не могло нас отсечь. Понадобилось чудо. Злое чудо. Чудо с обратным знаком, — повторяет он на многие лады. — Тогда Дьявол вмешался. Такое бывает не часто. Как и любовь. И я не дамся. На мою долю это выпало и я принимаю вызов. Даже если не только Вельзевул станет между нами, но и сам Хозяин жизни. Поркин и Прайт, слышите ли вы меня».

18. Ожидание

Часть пути домой он проделывал пешком; явно чувствовал потребность в свежем воздухе. На углу 53 ули-

цы и Пятого Авеню Боб Кастэр останавливался: у витрины антикварного магазина, между двумя лестницами собвея. Тут, в счастливую полосу, он часто поджидал Сабину: минут пять, десять (иногда больше); случалось, она его уже опережала: бросалась навстречу, тормоза, заливаясь счастливым смехом. Здесь он пережил опыт ожидания. И теперь возвращался по собственным следам, смакуя, осваивая это страшное состояние — ждать, когда нет человека и все таки в любую минуту может показаться: может воплотиться, сразу, целиком, и все таки его нет. Постепенно это бесцельное дежурство после рабочего дня, у витрины, стало привычкой; Боб терял чувство времени и начинал, по настоящему, вслушиваться, всматриваться: вот, вот Сабина каблучками застучит по ступенькам — в сторону **Museum of Modern Art**. «Опоздала»? — скажет весело и уверенно тряхнет гривкой рассыпающихся волос.

Ему вдруг открылось... Когда встреча назначена в семь, а часы уже подбираются к восьми, то именно этой готовностью, одного, стоять без конца расстраивается свидание: чем больше он ждет, тем решительнее исключает возможность ее прихода.

Внизу подкатывали поезда и пачками выбегали наверх пассажиры. Сперва молодые, здоровые; затем — среднего возраста, обремененные ношей, детьми; последние — старики, калеки... А он все еще ищет, может быть в числе этих уродов Сабина: «Пусть на костылях, пусть горбатая, только бы наконец появилась».

«Вот уже 75 процентов за то что она сейчас придет. А теперь 80,85». И все же ее не было. И эти 85% никак не уплотняли ее на столько же частей: могли превратиться в 100, а затем в ничто. Но когда Сабина бывало окликала его, это была она: не сто процентов, а она... и так же трудно рассеять этот образ, как раньше трудно было из процентов вызвать его.

Порою мнилось: Сабина... нежность и тоска его выхлестывалась сразу на приближающуюся фигуру. Но вот разглядел: другая. И Бобу делалось страшно: обма-

ном его всего кинули — пусть на минуту! — к этой чужой женщине. «Значит можно подменить»...

Полицейский прогуливается взад и вперед у витрины ювелирного магазина, быстрым взглядом ощупывает Боба Кастэра: негр, что то бормочет себе под нос, ждет девочку. Не видя ничего предосудительного, полицейский отходит, однако не переставая за ним издали послеживать.

Янки готовы высадиться в Нормандии, русские великолепным броском покрыли равнину от Волги до Днепра. Освобождают Европу: немцы варят из нее мыло. А Боб Кастэр почему то ищет Сабину на лестнице собвоя : морщится от боли... Но если не будет этого, то не зачем спасать мир от Гитлера и обезьян.

Там в застенках пытаются: говорят истребили уже двадцать миллионов душ. Рубили, жгли, стреляли, вешали, отравляли газами, насиловали, вываривали жир, сдирали кожу для промышленных целей. А Бобу Кастэру чудится: его душевная боль не легче! Человек приспособлен главным образом к физическим страданиям, в душевном плане он почти дитя: вероятно потому что духовно большинство еще младенцы.

«В мире идет борьба с фашизмом, — недоумевающе шепчет Боб. — Но что такое фашизм? Когда плешивый редактор возвращает поэту стихи, под тем предлогом что он их не понимает, или заставляет сократить их, то это фашизм? Когда певец должен превратиться в чрево-вещателя, а ученый в рекламного жулика, то это фашизм? Когда мужчина имеет двух любовниц, то это фашизм? Когда жена жмет в театре ногу случайного соседа, это фашизм? Когда супруги целуются не желая того, когда врут, воруют, эксплуатируют, пестуют своих детей, а чужих душат? Когда человеку поручают всю жизнь заботится о пакетах, что он может успешно выполнить только если сам обернется пакетом? Компромиссы, медленное умирание, обесцвечивание и усыхание души и тела, это похуже фашизма. Для того,

чтобы бороться с фашизмом не надо обязательно летать над Берлином или Токио. Я тоже воюю с фашизмом».

19. На углу 53-ьей улицы

И самое дикое что это случилось: Сабина тоже пришла туда — вдруг неудержимо потянуло.

— Боб, Бобик, — вскричала она. — Ты давно уже здесь?

— Не знаю, — опешив ответил. — Я прямо с работы. Который час?

— Около шести.

— С полчаса, что ли.

— Боб, Бобик, — повторяла она, плача и сияя. А потом сказала: — Знаешь, я очень волнуюсь. Ведь уже две недели запоздания.

Он не сразу понял. Потом пробовал успокаивать: столько было ложных тревог! Но вид ее, смятый, предвещающий испытания, заставил его содрогнуться: есть логика в новой беде, — чем шире плечи человека, тем больше на него должно падать груза. (Лучше всего изображать уже поверженного в прах).

Они шли по вечернему, зимнему Нью Йорку. Погода стояла сухая, холодная, на редкость безветренная. Хорошо жить, быть довольным, молодым. Отправляться в горы, за океан, бороться с понятными стихиями!

Их щеки стянуло морозом, лица порозовели (даже у Боба что то сдвинулось в окраске). Точно играючи они бодро шагали, держась за руки, — мимо небоскребов, издали подобных сияющим, рождественским елкам, мимо бездарных особняков, церквей-пародий и, совсем уже не интересных, прохожих. По привычке завернули в знакомую кафетерию. Болезненный, — «почти дневной», — искусственный свет... И такой красивой, нужной, родной ему вдруг показалась Сабина: шубка, теплые сапоги и трогательный меховой капюшон над печальным и ребячливо чистым лбом. Она поняла и, кокетничая, подставила для обозрения свой профиль (в

шутку называла его безукоризненным). Улыбнулась: вполне счастливая, в сущности, только когда ею любили. А потом:

— Такого опоздания у меня еще не бывало.

Она уже успела посоветоваться с одной докторшей. Делает анализ: через неделю будет ответ. За это время надо все подготовить. Теперь это очень трудно: сто долларов, да и то отказываются.

— Другого исхода ты не видишь? — спросил Боб.

Они сидели за столиком: по привычке взяли фруктовый салат. Ела она быстро и смакуя, а в глазах светились слезы. Ответила:

— Ты ведь сам понимаешь. Это всегда нас пугало. А при данных обстоятельствах, как можно!

В зеркале он увидел свое чужое, неприятное лицо. Через силу произнес:

— Помнишь, я тебе говорил, адвокат того же мнения: если родится белый ребенок...

— А если он родится метисом? И вообще, разве годится для опытов и судопроизводства фабриковать детей.

Он мог бы ей возразить, что всей кровью своею жаждет ребенка, давно, а теперь подавно: хоть какое то утешение и легче уступить, примириться. Но сказал:

— Что касается денег, не беспокойся. Деньги будут.

Тогда Сабина взглянула на него, тоскливо, пронзенная насквозь:

— А другого выхода нет?

— Чего больше? Я сказал, что хочу ребенка. Но без любви... Если ты сомневаешься, разумнее не связываться.

И Боб обещал навести справки по поводу врача: у Поркина или на работе (один сослуживец недавно поведал о своих, подобного же рода, удачно разрешенных, затруднениях). На этом они расстались.

На Пятом Авеню, две молодые женщины, дожидаясь автобуса, оживленно болтали. Донеслось:

— I tell you, you better get a small chicken.

У следующего угла кавалер говорил своей спутнице:
— *I don't think she'll get a contract.*

И почти тут же, у входа в магазин, мать шлепнула непослушную девочку, и та ликующе-удовлетворенно проревела:

— *I got it, I got it!*

«В обиходе большинства, глагол *get* играет доминирующую роль. Все существо выражает себя через такое или подобное ему слово. Если извлечь его, потушить в сознании, заморозить, останется пустая область, мякоть, пробел, — нерадостно думал Боб Кастэр, прокладывая себе путь верх по Пятому Авеню. — Словарь среднего обывателя равен 400-500 словам. Но одно слово он употребляет ежеминутно, другое часто, третье редко. В жизни каждого человека имеется слово, которое он произнес только раз. Если найти его, можно разрешить тайну данной жизни: это ключ! Есть еще другое слово: близко подошел и остановился у самого края... Так таки сердцем не произнес: за всю жизнь. Между этими двумя словами ценность человека. Как между рождением и смертью. А все прочее почти не имеет значения. Разве только как подготовительный этап: найти, закрепить это слово. Слово есть Бог. Господи помоги мне», — шептал Кастэр, пробираясь к парку.

Здесь у фонтана, что против Plaza Hotel, Сабина его впервые поцеловала. Они гуляли в Central Park; он целовал ее: не отвечала, не сопротивлялась. Потом, возвращаясь к собвею, присели на краю фонтана. Была летняя ночь, возможно и луна и звезды (в Нью Йорке звезды не запоминаются и растения не пахнут и птицы не поют: в Америке нет соловья). Сабина провела пальцем по его губам, изучая, примериваясь, и медленно склонившись, надолго, мягко и властно, приникла, присосалась. Теперь Боб Кастэр спешит мимо этих каменных плит, прохожие мчатся прочь, не задерживаясь, не замечая. Боб усмехнулся: воистину люди слепы и глухи. Этот камень кричит, стонет, плачет... Так ветеран

из окна вагона узнает поле давнего боя и бессильно вздыхает, догадываясь, что ни один учебник не сможет повторить этого пасмурного дня, — пыльный кустик и вспаханное снарядами враждебно безразличное небо, — когда он полз, припадал и, наконец, оторвавшись, побежал в полный рост, с гневным и клопочущим подобием ура.

20. ГНЕВ.

Поезд нырял в подземельи; мигали тусклые электрические лампы. На полупустой грязной скамье сидел Боб Кастэр; сутулясь, устало закрыв глаза, он прислушивался к собственному шопоту: «горе, горе, горе»... душа его, что ли, выстукивала.

«Горе ездокам, горе пешеходам, горе стоящим на одном месте, горе поверженным. Горе молодым, горе старым, горе женщинам, детям, гермафродитам, педерастам, святым и соблазненным. Горе влюбленным, горе добрым и злым, счастливым и ропщущим. Горе безразличным, полумертвым, мертвым и живым, нищим, чахлым, атлетам. Импотентам и прокаженным, президентам и диктаторам. Горе всем и каждому, отдельно и в совокупности. Горе черным и белым, довольным и бунтующим. Горе святым, подвижникам, ангелам, бесам и грешникам. Горе нам и вам, им и тем. Горе горю, горе радости, весне, солнцу и бытию, сну и пробуждению, камню, дереву, телу и пустоте. Горе замерзшим, но горе и сгоревшим, горе бессеребренникам, лентяям, жертвам, героям и победителям. Горе, горе, горе»... — шептал он, рассказываясь как дервиш.

Пассажиры с удивлением и опаской оглядывали небрежно одетого негра, что-то завороченно бормочущего: пьян, бредит...

«Вот человек, который не может себе найти места на земле, — продолжал напевать Боб Кастэр: — И постепенно даже потерял самого себя. Птицы небесные имеют гнездо, зверь

лесной — нору. А Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И все, что от Него, не может найти себе места на этой земле. Так было, так есть и — не будет. Я вижу огонь падающий на ваши головы, о как бы я хотел что-б он уже низвергся»...

А дома Боб уже застал каких-то незнакомых, празднично одетых, дам и кавалеров. Была суббота и сосед, Ники, по обыкновению, давал party.

— Почему так рано? — подозрительно осведомился Боб: нет ли подвоха... Характер его явно менялся.

— Мы успеем пообедать en petit comité, — заверил Ники.
— Это всегда приятнее.

За столом собрались только черные: хорошо, но скромно одетые джентльмены, очень спокойно, с достоинством, держащие себя женщины. Там было несколько юношей с Гаити, служащий одного крупного банка в Косто-Рико, сын бывшего президента маленькой республики, доктор, кончивший в Монпелье, их дамы. Боба Кастэра приняли учтиво, благожелательно, без фамильярности и назойливых вопросов. Так, ни одна девица не осведомилась: холост или женат он... и было это им явно безразлично. Закуски, *roti de veau* и омар. К мясу подавали красное вино: хозяин объяснил, что из всех местных это больше всего походит на бордо.

Беседа велась оживленная и занятая. Говорили о Пушкине (чей портрет висел на стене), о Прусте, о Рильке, о Томасе Вольфе, о раннем периоде Пикассо, о французском восемнадцатом веке. После еды, за черным итальянским кофе с ликером, был пущен в ход дорогой музыкальный ящик: редкие сюиты, Бах, Мусоргский, Моцарт. Гости курили, обменивались тихими замечаниями, улыбками признания, уважения, благодарности. Однако, к десяти часам хозяин начал проявлять признаки беспокойства: изменился, стал грубым и нахальным. Ящик с дорогими пластинками унесли, зазвучала дикая какофония ломающейся на полутактах музыки джаза. Ники даже надел другой галстук: яркий, с пятнами яичных желтков. На столе

появилось блюдо с шипящей свиной. Лица других тоже преобразились — туповато-унылые, животные, словно маски идолов. Женщины прохаживались по комнате, вызывая вихля задом и грудью. Скоро нагрянули белые. Все в нелепых галстуках: лоск начищенных башмаков, похабные шутки и детский хохот. Они полагали: отправляясь в Harlem, должно вести себя примитивно... и давали волю своим натуральным повадкам. Цветные же не разубеждали их, наоборот, проникались тем же чувством. Так один юноша, недавно попавший в Нью-Йорк, наивно решил, что это и есть цивилизация — начал хватать свинину руками, хрипло вопить и щупать дам.

21. ВЕЧЕРИНКА.

Пили много и наспех, танцовали: терлись, извивались, отбивали трешотку, мучительно-мелкую, нескончаемую, бесплодную...

Пили и плясали: умело лавировали по узкому корридору вплоть до заповедной ванной — юркали, запирали дверь. Выходили оттуда, — словно выполнив бессознательный долг, — еще более ошарашенные и безликие.

Боб прыгал с одной негритянкой: стремительно она пробежала в ванную. Пока Боб тщился понять значение этого факта, матрос коммерческого флота, недавно вернувшийся из плавания с проломленным черепом, стрельнул за ней.

— Почему ты не зашел? — спрашивала она Боба, через минуту или часы.

— О, ему нужнее, он матрос, — отшучивался тот.

— Ты действительно хочешь меня? — домогалась честная женщина. Боб ее не слушал.

Как это произошло: рядом с ним на диване Магда. Маленькая Магда, что повела сына к парикмахеру и почернела. У нее отличительное пятно на левой груди. Вот она раздевается.

— Сними платье, совсем, — говорит она Бобу: — To really enjoy it.

— I need this room, — казалось шопотом, но властно,

одержимая тайной силою, приказала Магда. И все послушно выскользнули из комнаты, провалились: за стенкой, в дырочки, щели и скважины, слышалось хихиканье, кваканье, бляенье, хрюканье, скребки, — тараканов, птиц, свиней, монстров.

Боб покорно разоблачился: два черных тела, — безвольные, анестезированные, полумертвые, — изображали что-то. Ложь. Он не черный. Он не мертвый. Он не желает целовать это жалкое существо. Душа его кровоточит и стонет: заблудилась и стучит в окно, кусая запекшиеся губы... А тело парализовано.

— Ты всегда такой? — спросила обиженно.

— Нет, первый раз в жизни.

— Все равно, — решила Магда. — Теперь ты со мной связан на веки. И в будущей нашей жизни мы встретимся. Если ты не врал, что сильный, ты и для меня пробьешь дорогу, — улыбнулась совсем не пьяной улыбкой, а несло от нее многими напитками.

Боб не мог говорить. Он не мог слушать. Он ничего никому не хочет давать. Он сам нуждается в помощи. Он болен и стар и отравлен, — «другие препояшут тебя», — и ему страшно. Страх и грусть сдавили ему горло.

«Сабина», — взмолилась душа... Где-то теперь ходит, дышит синий цветок, спасительный, родной. Никогда в жизни он ее не любил больше чем в эту минуту и не чувствовал реальнее — близость. «Сабина». Скорее повидать ее, объяснить, покаяться. Она поймет, простит, спасет.

Посторонние уже давно набились в комнату; безобразные пары фантастически склонялись, никли по углам. Хозяин, Болль, один трезвый, расхаживал по загаженной квартире, курчавый красавец, снисходительно и брезгливо усмехаясь.

Боб начал торопливо одеваться: прилаживать, застегивать отдельные части туалета — с пьяной старательностью... «Посмотрите, я хоть выпил, но отлично знаю, что и как надо в таких случаях делать». Без галстука, захватив у себя в шкафу пальто, он выбежал прочь: в ночь, в Harlem, в стужу.

22. КОНТРАБАС.

Возле 116 улицы Боб Кастэр проник в Парк и там, на первой скамейке, уткнулся в небытие, в отсутствие. Но постепенно, все ускоряя бег и усложняя рисунок, вереница образов, звуков, красок, запахов, бешено замелькала перед ним. И все упиралось в одно: его жизнь не удалась. Вдруг вспомнил одно из своих ранних стихотворений. Там человек занимается мелкими, частными, даже подлыми, делишками, а в углу стоит ангел и, закрыв лицо руками, плачет. Из жалости к своему Ангелу весь содрогнулся: «Клянусь, я не предаю тебя, я не сдаюсь, буду достоин тебя»... может он вслух пробормотал это. Неожиданно, с края скамьи, отозвался старческий голос:

— Спасибо, спасибо, так и надо.

Боб удивленно разглядел — почти рядом — фигуру старика, бездомного, грязного попрошайки. Кашлянув, тот вежливо произнес:

— Надеюсь, не помешал.

— Ах, мне все равно, — решил Боб.

— Один великий шахматист поучал, — начал бродяга, словно продолжая прерванную беседу: в шахматах надо быть злым. Это верно и не верно. Вообще в жизни, в творчестве, надо быть злым. Царство Божие берется силою. Когда из мрамора высекают улыбку ребенка, следует удалить резцом ненужные пласты. А камень сопротивляется, в этом диалектика минерала. То же и в собственной душе и с людьми. Побольше жестокости в духовном плане. Царство Божие берется силою.

— Вы скульптор? — спросил Боб: разговор и внешность нищего были так неожиданны для Нью-Йорка.

— Нет, я мистик, — скромно сообщил тот. — Вы тоже мистик?

— Нет, я просто несчастный человек.

— На скамейках парков, в этот час, сидят только несчастные люди.

— Да, но мой случай особенный, — обиделся Беб: — Из белого я превратился в негра.

— Мне 60 лет, но такого явления, как банальное горе, я еще не встречал.

— Извините, чем вы собственно занимаетесь?

— Я музыкант, играл на контрабасе, — объяснил старик. — Вы себе когда-нибудь задавали вопрос: о чем мечтал человек, пилящий, щиплющий контрабас... К чему он готовился, когда посвящал себя музыке? Догадываетесь?

— Нет.

— Ну вот. Он мечтал о виолончели. Из неудачных виолончелистов получают контрабасы.

— Это замечательно! — вскричал Боб. — Они родились виолончелистами, а жизнь их превращает в контрабасы.

— Совершенно верно. Совершенно верно.

— Извините, — спросил Боб: — Но вы, очевидно, теперь не играете и на контрабасе?

— Да, я взбунтовался, — с достоинством согласился лохматый мудрец. — У вас найдется папираса? Спасибо. Контрабас давал мне приличный заработок; жена привела в дом сына от первого брака. Все было как у людей. Уютная квартира, ковры, друзья. И годы, десятилетия шагали незаметно, бесследно. О своей молодости, о виолончели я давно перестал думать. Только иногда, ночью, в постели, мне вдруг становилось страшно. Тишина, неподвижность и одиночество вызвали какие-то беспокойные и ужасающие предчувствия. Мнилось: вот, вот, я умираю, конечно, уйду из жизни. А ведь была чудесная возможность, несколько десятилетий изумительного совпадения: меня вырвали из небытия, одели, умыли, пустили по этой земле, дали козырь в руки... Но я ничего не сделал, не использовал, и вот ухожу в ничто, без апелляции и без повторения. Тогда мысль моя обращалась к виолончели: я даже пробовал снова учиться играть. Но наверстать потерянное было трудно, а дилетантизм мне претил. Наступало утро: сутолока, заботы. Сын подрос, и днем казалось разумным ждать от него разрешения моих собственных, отложенных задач. И я жил. Работал

в солидном оркестре. Квартира моя находилась в одном из редких, даже для Америки, жилых домов, на 30-ом этаже. Привык, каждый день, почти четверть века: полет вверх, падение вниз... Но вот однажды забастовали работники вертикального транспорта и мне пришлось подниматься пешком. У меня слабое сердце, поэтому всходил я медленно, поминутно отдыхая, переводя дух. Путешествие продолжалось с лишним два часа. Представьте себе: бреду целую вечность по месту, надо полагать, хорошо знакомому. И вдруг оказывается: все кругом непонятно чужое. Я увидел жизнь в другом разрезе. Там открывается дверь и выбегает юноша, а женщина ему что-то кричит в догонку; в приемной дантиста сидит пациент с искаженным лицом; супружеская пара звонит в контору адвоката по делам натурализации; откуда-то выскочила кошка и жалобно замыкала; в кабинете врача-венеролога бледный джентльмен узнает о своей болезни: он выходит на лестницу низко надвинув шляпу, подняв воротник пальто; из отворенного окна 20-го этажа свешиваются женские ноги с туфлями на высоком каблуке: сейчас она прыгнет вниз?.. И запахи пудры, крови, виски, бракоразводных исков, шантажа, типографской краски, злокачественных опухолей; звуки настраиваемых инструментов, всхлипывания детей, щелкания пишущих машинок, последних и первых поцелуев, радио-передач. Земная жизнь во всем своем неестественном искажении! Тогда я что-то понял. Что мне открылось, не знаю. Но одно было ясно: дальше так жить нельзя. Я умру, немедленно, сегодня ночью. Надо уйти, бежать, спастись, сердце, сердце. Не помню как я очутился на стуле среди друзей. Меня поливали водою, поили каплями, врач щупал пульс: он говорил, что безумие подниматься на 30 этажей. Но я понимал другое. Безумие в другом. В тот же день я ушел. Бросил жену, сына, честный труд и контрабас. Вот собственно моя история. А сейчас, думаю, надлежит внести еще одну поправку. Тогда мне казалось: если буду продолжать жить по старому, смерть или безумие неминуемы! Теперь я догадываюсь: были и другие возможности. Мог, подобно вам, превратиться в негра.

— Я бы предпочел умереть, — жалобно сказал Боб Кастэр.

— Ах, не говорите глупости, — отмахнулся старик.

— Но почему это выпало на мою долю?

— Вы не ушли. В какую-то минуту вы не сделали соответствующего вывода. Но мы помним: Бог по любви своей предоставляет много возможностей спасения. Вы христианин?

— Да, — ответил Боб, — христианин. Или вернее, хочу быть им.

Беседа заглохла. Боб укутался потеплее в пальто, съежился. Старик что-то бормотал, неразборчивое.

— Вы читали Паскаля?

— Отрывки.

— Паскаль берет вас за плечи, он повторяет: не спи, не спи, не спи.

Боб к удивлению своему почувствовал, как его трясут чьи-то могучие руки. Открыл глаза: туманный рассвет, теплый и гниlostный. Над ним стояло двое полицейских, критически его разглядывая.

— Где старик? — вскричал Боб Кастэр.

— Старика нет. И лучше бы тебе тоже провалиться, — посоветовали ему. — Доберешься своими силами или нам тебе помогать?

— Я не спал, я не пьян, зачем вы так говорите? — возмутился Боб.

23. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ.

Как ни странно, после событий этой ночи Боб Кастэр почувствовал себя даже окрепшим, словно приложившись к благодатному началу покаяния и прощения. Приток новых сил был вполне кстати, ибо жизнь, — как всегда случается, — успела сразу швырнуть еще одну охапку тяжестей.

Во-первых, выяснилось, что адвокат Прайт стакнулся с враждебными кругами и обманывает Боба: под влиянием угроз Клана или гонорара масонских лож, чего-то другого или всех

причин в совокупности, только он предал интересы своего клиента. Вел дело не честно. Бумаги, которые они сочиняли, никуда не отправлялись, и ответы, будто бы получаемые, оказались апокрифами. Боб набил ему морду. Роста Прайт был огромного и кулаки имел внушительные, но не защищался и принял наказание покорно. Однако, найти подходящего адвоката стало еще мудренее: трусили, виляли.

От прямой, неотложной цели приходилось сворачивать в сторону мелких и спорных забот. (Так биолог, чья основная задача открыть тайну жизни вообще, постепенно откатывается в мир насекомых и кончает свою деятельность на глазном нерве дрозодилы).

Анализ показал, что Сабина беременна.

— Если ты настаиваешь, я буду разумеется с тобою до конца: не у тебя операция, а у нас обоих, — объяснил Боб.

— Ведь иначе нельзя, — умоляюще, но упрямо решала она.

Сабину возмущали его доводы. Она не считала это убийством. И во всяком случае: плодить несчастных и портить свою личную жизнь — большее преступление. Если бы он упоминал о своей любви, о их любви, даже в прошлом, о твердом желании сохранить именно этого ребенка (а не отвлеченно), Сабина бы уступила. Но Боб так не говорил. Наоборот, ему нужна была ее самочинная готовность идти на жертву — улыбаясь, на эшафот. А этого, очевидно, Сабина не могла дать.

Вдобавок ко всем бедам, доктор Поркин, пользовавший Боба, успел незаметно исчерпать весь запас своей доброй воли. Не то, что он собирался прервать лечение. Нет. Но у Боба создавалось впечатление, что на этом пути многого ждать не приходится. Он побывал у хирурга, друга Поркина, который предлагал совершить пересадку кожи: хотя бы местную, — и вызвать реакцию на остальных участках. Но операция сложная и болезненная. И Боб, хотя бы по недостатку времени, пока не решался!

На служебной лестнице Боба также обидели: перевели из отдела классиков в отдел школьных пособий, — в другой под-

вал. Благодаря этой уловке жалование Боба оказалось уменьшенным на полтора доллара в неделю и уравнено с окладом остальных негров. Хозяин издательства был поклонником Dale Carnegie и горькие пилюли предподносил подслащенными, по системе этого великого американца. Он, впрочем, обчелся: один славянин так жестоко избил его за дешевое христианство и ничего не стоющую любезность, что ему, основателю фирмы, понадобился гипс и больничная койка.

От шефа подотдела классиков Боб без труда узнал адрес врача, сделавшего аборт: «Человек хороший, хотя несколько странный», — сочувственно предупредил бывший начальник.

И робкой парой, держась за руки, Боб и Сабина поднялись по неказистой лестнице. О, если бы они поняли тогда стук своего сердца: всю нежность и печаль... о, если бы они поверили только.

Доктор не проявил энтузиазма: «теперь очень опасно, дорого, в сущности, почему ей не рожать?»

— Но вы настаиваете, тогда лучше делать немедленно! — перешел он на другую крайность.

Сабина желала подождать еще с недельку (все таки продолжала надеяться).

Операцию условно назначили к этому времени: середина февраля.

— So long, — сказал доктор, выпроваживая их.

Они стояли на ветренном, студенном 2-м Авеню: близко катил лед East River и присутствие огромных масс замерзающей воды ощущалось всем нутром. Сабина долгим взглядом припала, присосалась к Бобу. Он не обращал уже внимания... Раньше надеялся: вдруг заплачет, вскрикнет, уткнется в грудь, — «милый, ненаглядный, прости, родной, прежний мой». Теперь испытывал только раздражение: унижительное, бесплодное примеривание, высчитывание, сравнение.

Виновато, растерянно, озираясь, она зашагала к Собвею, — на работу, — исчезла, как фантом, под землей.

24. МАКС и Ко.

Она служила секретаршей у литературного агента. Патрон ее — сокращенно: Макс — не стал великим писателем только потому, что роль мэнэджера гораздо ответственнее и требует большего дарования. Целыми днями, иногда даже в праздники, Макс давал инструкции, переучивал европейских литераторов, натаскивал энергичных американских юношей и вдов, правил рукописи, спорил, разбирал, ставил хирургический диагноз и трепанировал. Телефонная трубка была у него зажата меж ухом и плечом, — негр тут же лошил его сапоги, — одной рукой он что-то отмечал в календаре, в другой он держал рукопись, просматривал ее, ухитряясь еще отвечать на спешные запросы сотрудников.

Искусство для Макса родная стихия, и только эти бестолковые «творцы» мешали ему своей непонятливостью. В голове у него царил образцовый порядок, но когда он встречал людей поживших в Европе, то всегда чувствовал себя неловко, словно в сумасшедшем доме, когда не знаешь доподлинно с кем разговариваешь: доктор ли, больной, санитар? Прочитав рукопись, Макс сразу улавливал суть и мог объяснить: хорошо ли это, плохо и почему... и как, изменив структуру, улучшить произведение. Ибо много зависит от структуры.

Вообще, произведение делится на содержание и форму. Бывает хорошее содержание и неумелая форма — это провал. Возможно банальное содержание и удачная форма — это интереснее.

Еще имеются — типы! Очень важно: типы — центральные и побочные. Оформляется вещь при помощи диалогов и *description*. Главное — диалог. *Description* знаменитые писатели сами не делают — поручают своим секретаршам. «Когда вы описываете воду, — поучал Макс, — следует играть прилагательным **опасный**: безопасная вода, небезопасная волна, опасная глубина... это всегда удовлетворяет».

И, конечно, надо быть реалистом: *human*. Если героиня

влюбилась, но у того жена, то это конфликт между страстью и долгом: human. «Но если вы занимаетесь человеком, который не желает умереть: ни сейчас, ни через 40 лет... то это надумано. Великие писатели вам не пример: только когда прославитесь, начнете фантазировать».

Блестящие идеи осеняют любую барышню, а вот отлить, как следует, это уже мастерство, техника. Макс имел даже философию искусства: маленькая истина, постепенно превращающаяся в отвратительную ложь: «искусство обращается к эмоциям человека; если я, прочитав книгу, почувствовал волнение... отлично; а если не подействовало, значит дурно».

— Но вас больше всего задевают коньяк и женские ноги! — рассердился как-то один из его немолодых уже клиентов и ушел хлопнув дверью (а потом вернулся: в других конторах хуже).

Действительно, теория Макса утыкалась в нищету его эмоционального опыта. «Представьте себе папуаса или 14-ти летнего мальчишку, чьи душевные движения являются высшим арбитром... и вы поймете в какой опасности наша культура», — не раз порывалась Сабина ввязаться в спор. Но сказать такое, значит смертельно уязвить его. «Замечательно, но это не искусство», — часто повторял Макс загадочную фразу: — «это не литература». В его башке все было поделено, классифицировано: роман, повесть, пьеса, исторический роман, публицистика, философия, наука, — без переклички. Так, в детских пособиях, физика, химия, ботаника, в разных концах книжки и нигде не сливаются. Он обладал удивительным нюхом: прочитав наскоро, в присутствии автора, рукопись, Макс выуживал лучшее место, — сравнение, сцену, — и говорил: «Это очень хорошо, но здесь не кстати». Один француз, рассвирепев, попробовал объяснить ему, что бессмертные книги сохраняются в веках только благодаря этим неожиданным, великолепным отрывкам: одолеть нынче целиком Илиаду, Данте, Дон-Кихота, Шекспира, скучно и бесполезно... гениальная страница потому неуместна, что она гениальна, и нужно сохранить ее хотя бы выпирающей, а не кромсать, резать. Но Макс

не обращал внимания на «гениальных» фанатиков; к тому же он сознавал: задача автора отстаивать свой товар, дело редактора защищаться, а его роль, посредника, сглаживать противоречия.

Если бы Макс говорил: — Я вас не учу писать, я вас учу продавать... Сабина простила бы ему многое. Но нет, он искренне одобрял всю эту убийственную для творчества систему. Макс утверждал: «Принесите мне воистину талантливый рассказ и я наверно его продам. Все вещи, которые мне возвращают, имеют дефекты: я вижу их».

Но после несколько месячных попыток и мытарств, Макс, вдруг, вручал писателю чек, — куш, превышавший иногда его десятилетний заработок, там, на родине. Было над чем задуматься. Так множились кадры соблазненных, усталых, патристически настроенных мудрецов, популяризаторов чужих (а иногда и собственных, ранних) идей, трудов, находок.

— Я теперь понимаю, почему большие американские писатели живут в Европе годами, — признался Сабине русский журналист, дожидаясь приема у Макса.

С очерком этого русского вышел следующий анекдот: Героиня, молодая девушка засмеялась: «и слыша ее смех, все в доме невольно заулыбались»... Так значилось в тексте. И Макс запротестовал: «Невозможно, кто видел, что они все в разных комнатах заулыбались?» Спор продолжался в связи с другим положением: чудное утро, море, пляж, чайки, — герой пленен красотой природы, но чувствует, однако, себя несчастным, лишим. Макс решил: «нелепо, окруженный таким великолепием, герой должен радоваться». После скандальных препирательств, русский уступил и добился чека.

— Америка странный мир, — сообщил он Сабине, получая деньги. — Она имеет свои плюсы.

— Вы не знаете Америку, — возмутилась Сабина и горько потом жаловалась Бобу.

У Боба Кастера занятия протекали в несколько иных условиях, но не менее лживых и бездарно-ограниченных. Пост-

но-религиозный, скупо-христианский, лже-добродетельный и самоуверенно-меркантильный дух.

Предполагалось, что сотрудники попадутся идиоты, кретины и устанавливалась (сверху) надлежащая практика — рутина — на все возможные случаи; поскольку рабочий соответствовал этому интеллектуальному уровню, дело двигалось согласно плану; если же служащий проявлял интерес, самостоятельность, т. е. был живым человеком, не только дома или на рыбной ловле, но и в предприятии, то он страдал, оказывался вредным и удалялся, подобно наросту. Из двух телефонисток, место одной постоянно освобождалось: и этих, кочующих, барышень Боб всех заметил. Ту же, что без перебоя сохранялась, — т. е. пришлось кстати, — Боб не запомнил: ни голоса, ни лица, ни имени. Доска, идеальная, плоская, сглаженная. Утешение начальства, созданное в процессе сверхестественного отбора.

Никаких перемен, даже улучшений! Рутину и только. Вам платят за рутину. Ничего не затевай в разрез с освященной нормой, даже если это явно диктуется здравым смыслом. Произошла непредвиденная заминка? Спроси старшего, он позвонит дальше. Ответа нет? Не важно: ты покрыт, — you are covered, — ответственность переложена. Главное, избегай инициативы и личной ответственности. Инерция. Не думай. Программа рассчитана не индивидуально, а на группу, на артель.

«Американизм это клюква Соединенных Штатов, — думал Боб. — Большой отсталости, технической и организационной, трудно найти и на Балканах. Тут какая то тайна».

Довольно гладко и без резкостей Боб Кастэр высказал это заведующему персоналом: тот громил их за очередную погрешность по отношению к Святой Рутине.

— До войны у нас цветных не принимали. Всем известно, что они ленивы и недисциплинированы. Но такую распушенность, как ваша, мы даже не предполагали возможной.

— Вы дурак, — заверил его Боб. И откланялся.

Он легко нашел другое место, однако, катясь вниз по социальной лестнице. Между прочим выяснилось еще одно

неудобство его положения: круговая порука, зависимость неизвестных собратьев от его поведения. Если Боб, в шутку, приставал к золотушной итальянке, работавшей в той же Cafeteria, то пострадать могла раса черных в целом. Отныне, только семья его, вид, племя, принимались во внимание.

Дни мелькали хмурые, невзрачные, без запаха, без света, без вдохновения, как в тюрьме или в культурном концентрационном лагере. Ему не доставало друзей: пяти-шести человек его круга, интересов, устремлений. Но их нельзя найти. Даже люди, близкие ему по Лондону или Парижу, претерпевали здесь странные изменения, — в своем роде под стать трансформации Боба Кастэра, — перерождались. Конечно, Сабина. «Она мне нужна теперь. Именно сегодня. Скажу ли я это ей когданибудь?»

25. МАГДА.

Вечером, возвращаясь домой после особенно бесплодных и сомнительных усилий, Боб почти обрадовался встрече с Магдой: загородила ему путь у самого крылечка.

— Можно зайти к вам, — попросила. Маленькая, сухая, тоскливо постукивающая зубами.

— Ладно, — согласился. И подумал: вместо отдыха и помощи ему подсовывают, навязывают, существо предельно обойденное, достойное утешения. Новую тяжесть на шею!

У Ники шумели. На всякий случай, сделав знак: потише... Боб на цыпочках провел ее в комнату. Со времени той памятной ночи он не бывал у соседа. По странному совпадению, тот больше не приглашал Боба, — едва здоровался, — будто считая свое задание выполненным. Усевшись на диване, Магда сразу, торопясь, заплакала, издавая горлом смешные, птичьи звуки.

«В общем ее поразило такое же, если не похуже, горе. А ведь она слабее меня», — зашевелилось привычное и Боб усмехнулся. Ибо еще с детства усвоил: эти анемичные и хилые, которых ему приходилось всегда подбадривать (на экзаменах,

в творчестве, в походе), гораздо лучше устраивались чем он сам, мужественный, готовый любого пожалеть. «Я спал с этой женщиной, — вспомнил он и злобно осклабился. — Как в этой страшной жизни все ловко переплетено, осмысленна каждая бессмыслица».

Он уложил Магду поудобнее, укутал, дал отхлебнуть вина и тогда лишь разглядел, до чего она истрепалась. Тощая, пепельно-землистая, сморщенная, без возраста.

— Я не знаю, как мне жить. Я не могу больше жить. Я не хочу больше жить. Мне нельзя больше жить, — шептала она быстро, упрямо, одержимая: казалось, витальные силы иссякли, остались только деструктивные, ведущие к разрушению, самоуничтожению. А в то же время, глаза ее, усталые (доброй, чахлой лошади), теплились доверчивым ожиданием, надеждой, мольбой: вот согрей меня, скажи, открой, объясни, влей соки, смысл и я снова зашагаю.

И Боб, который сам, последние недели, с трудом сводил концы с концами, наклонив голову, стиснув зубы, слушал ее, испытывая предвртную муть и томление.

Муж ее бросил, тогда, при катастрофе. Осталась с двухлетним парнишкой: кормит, поит... Но с ужасом замечает: растет. Она не в состоянии воспитывать ребенка одна. Давно надумала: бритвой перерезать себе горло. («Каждый имеет свой образ самоубийства, характерный для него, подобно походке или почерку», — отметил Боб). Вчера чуть было не решилась, да вспомнила: ведь не случайно они с Бобом набезобразничали. Не случайно же такие вещи происходят.

— Да, да, — поспешно согласился Боб, морщась.

Он знал по опыту: жалость, полумеры, усиленная помощь, не могут спасти человека. Надо отдаться ему целиком, полюбить. Тогда легко заставить его снова дышать, быть, приносить плоды. Урывками же, пятаками, только обманешь, отсрочишь. И все же он ринулся, согнув тяжелую голову на низкой шее: перед ним стена, еще одна (все та же), он ее прошибет, о, проклятие.

— Ты понимаешь, — убеждал Боб злобно и настойчиво.

— Если бы я полюбил тебя, всю, ты бы воскресла, что ли. Но это значит, частично хотя бы, жить за чужой счет, паразитом, в тягость. Быть дефицитным продуктом в хозяйстве. Пойми, — гневно повторял он. — Жизнь такая сложная и опасная задача, а ты даже не пробуешь разрешить ее. Ты знаешь, что такое минёр? Он идет впереди своих частей, находит мины и разряжает их. Минёр дважды никогда не ошибается. Лучшие бьются, ищут прохода, а ты еще отягощаешь, мешаешь, мертвым грузом ложишься. Я плыву в бурю через Гудзон с твоим же ребенком на спине, а Магда прыгает и цепляется за мой ворот, требует внимания. Слушай, я тебе поведаю тайну мироздания, — согласился он, неохотно, подарить ей самое ценное из мыслей, опыта, откровений, то, что годами вынашивал и боялся открыть, выдать даже Сабине (ибо тогда оно могло вдруг потерять неоспоримость новизны). — Тайна мироздания, — повторил он торжественно, стремясь поразить Магду, вызвать душевный перелом.

26. ТАЙНА.

— В начале был только Он, — заговорчески сообщил Боб Кастэр. — Все что было, было Богом, и Бог был всем, что было. Вселенная Бог и кругом ничего: небытие. Чего нет, то небытие. И Бог, по неизреченной доброте и любви своей, пожалел эту черную, холодную, страшнее смерти «пустоту» небытия. Сказал: «Досадно, что есть небытие, ужас небытия»... И еще: «Сделаю так, чтобы небытие могло приложиться к жизни, и тогда не будет больше небытия». Будучи всемогущим, Он мог единоличным актом занять небытие, распространиться туда. Но тогда, опять таки: все что есть — Он, а кругом небытие. Механическим путем задача не разрешалась: небытие отступает, но не уничтожается. Надо, чтобы само сердце небытия ответило Богу: да... и тем самым подсекло собственные корни.

— Значит есть два начала жизни? — спросила вдруг Магда.

— Нет, — отмахнулся Боб. — В том то и дело, что нет:

ибо небытия нет! Здесь тайна, трудно осознаваемая. Существует только божественное. Чего нет, того нет. И подлость, страх, злоба, их нет: это смерть души, корни возвращения, якоря небытия. Понимаешь?.. Тогда Бог дунул, бросил искру, дрожи, толкнул небытие, родил, привел к сознанию и выбору. Весь процесс истории, загадка нашей земли, в этой борьбе: принять ли нам, высеченным из небытия, Бога, заразиться Его светом, оценить Его правду, утвердиться в Его любви или, наоборот, вернуться вспять в состояние сна без сновидений, смерти, небытия, воистину уму непостижимого, черного, холодного вакуума. В душе каждого тягнутся эти две возможности. Человек решает лично, но не только для себя: чаша весов всего мироздания колеблется. Усилие Микель Анджело или Франциска Ассизского влияет на целое: это мерило живого существа, вырванного из небытия. А гадина, тупица и насильник падает ношей на других, отягощает. Любой грех имеет космическое значение, потому что доказывает присутствие тех же элементов и у остальных: ведь речь идет о самоупразднении резервуара небытийности, — «Господи», взмолился Боб: несмотря на веру свою слова то выбирает какие-то лживые. Но продолжал, скрепя сердце: — Понимаешь, Магда, в тебе, как в препарированном кролике, видны струны, тянущие душу назад в древнее состояние покоя и смерти. С титаническими ухватками манияка ты работаешь на самоуничтожение и на разрушение мира. И не ешь, не пьешь, не спишь, отклоняешь всякую радость, смак ее и всякое созидательное движение.

— Я хочу, я хочу, — прервала его Магда и в ее голосе зазвучали творческие нотки. — Я желала бы принести себя в жертву. За великое дело. Десятки лет об этом молю Бога. И Бог не дает мне ответа.

— Это тайна Каина, — сказал Боб, усмехаясь: опять напыщенное слово. — Каин и Авель собрались принести жертву. Дар Авеля детский, от излишка, без надрыва. А труд Каина подобен каторжному. Бог сразу принял жертву Авеля. А Каина нет. Вот тайна: именно потому, что заслуга его велика. Если бы у Каина хватило силы, благородства, любви, продержаться,

потерпеть, ждать, не отчаиваясь и не сдаваясь, от его жертвы остался бы огромный, спасительный след в жизни. Но у него короткое дыхание: как у всех Каинов. Пожелал немедленного результата, позавидовал младенцам Авелям. Медведь в пустыне не сразу лижет руку аскета. Мрамор сопротивляется резцу гениального скульптора упорнее, чем диллетанту или придворному шаркуну. Каин взбунтовался, отчаялся, подобно ученому, разбивающему в гневе свою реторту. И вся его миссия сорвана. А ты идешь по пути Каина.

Магда не была убеждена, но что-то затеплилось в ее душе и жаждало продолжения, развития.

Тогда Боб заявил:

— Я создаю новое общество: последний интернационал: «Враги небытия соединяйтесь». Если ты обуздаешь в себе темные инстинкты, приходи к нам. Мы пловцы с длинным дыханием. Неся собственных и чужих Каинов, переплываем ртутные воды к утверждению живого. Помни, это не шутка: царство Божие берется силою.

Так говорил Боб Кастэр. От усталости, печали, не осталось и следа. Испытывал только досаду, — в сущности разменивает себя по мелочам: — черношкурый, просвещает истерическую бабенку. А он мог бы командовать армией, обращаться к миллионам, поучать народы. («Каин, Каин»).

Из коридора доносилась развратная музыка саксофона: не обрывается, все резче, выше, без радости, подобная бреду сексуального маниака. В одностворчатую дверь к Бобу, с воплями и улюлюканием, рвались пьяные: Ники убедил их, что там женщина. Они лежали в темноте; Боб гладил ее сухие волосы и сморщенное личико.

— Понимаешь, — шептал он. — Тебе не повезло. Но надо держаться, до поры до времени. И все таки жить за собственный счет. Я тоже потерял многое и, видишь, не сдаюсь. Сабина беременна и собирается выскрести моего ребенка.

— Я ненавижу Сабину, — отозвалась Магда, словно о давней своей знакомой. — Дурак, ты не понимаешь: она сперва тебя разлюбила, а потом ты изменился.

Боб вздрогнул точно от удара хлыста: вот слабая, добрая, а эту страшную истину легко преподносит ему.

— Ты ошибаешься. Правда по середине, — кротко сказал он, настроенный великодушно собственными вдохновенными образами.

— А я бы твоего ребенка донесла, — заявила вдруг Магда.

Незаметно уснула, то и дело всхлипывая, бормоча, спохватываясь, как голодная, побитая, бездомная собака, нашедшая себе случайный приют. Боб думал: «блудный сын, истосковавшийся по доброму слову и горячей пище... вот неожиданно его умыли, согрели, уложили на чистые простыни. Никто не прогонит, хотя бы до утра: и пришел он в себя»...

Она так храпела, что мешала ему не то что спать, но даже лежать тихо, курить. «Как мало я сделал. И больше получил, чем дал. Тайна. Застрять с нею навсегда: посвятить жизнь. Хоть одного человека спасти. Может в этом разрешение вопроса: цель и суть. Приму ее ребенка: обеспечу им тыл. Без крупных подвигов. Не быть Каином самому... Но с какой стати? Отказаться от самого себя? Я не Каин, не отчаялся, не убивал. Я только не уступаю: не отдаю лица своего за мармелад. Я тоже хочу: притти в себя. Быть самим собою, на соответствующем месте».

— Но где твое место? — пронеслось.

«Прежде всего, я не черный, — упрямо ответил голос в Бобе. — Главное преступление, подлость и слабость людей: ползут и застывают там, куда их ставят обстоятельства удачи или неудачи. Не признаю. Факт, что все меня соблазняют, толкают на путь сладкого компромиса, только доказывает насколько я прав, сопротивляясь: силен дьявол, трудно сохранить свою душу. Пока жив, не откажусь. О, меня мармеладом не купишь»...

Неожиданно, из храпа, донесся голос Магды:

— Почему это так устроено в жизни, что легко, почти произвольно, выходит дрянь, ложь, предательства... а как только пробуешь другое, высокое, светлое, сразу натыкаешься на трудности.

— Это потому, — объяснил Боб, — что птицы небесные имеют гнезда, зверь лесной нору и даже комфортабельную, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И все, что от Него или с Ним, не имеет приюта на этой земле, с трудом укладывается. Чему тут удивляться?

«Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову, — повторил он про себя, потрясенный. — О чем ты думаешь? На что жалуешься? Борись, побеждай и будь счастлив».

— Спи, спи, — сказал он строго Магде, которая зашевелилась было, желая продолжать беседу. — Поздно уже.

27. Операция

Оперировать решено было 3-го марта: на квартире врача, под местным наркозом... Сабина тотчас же уедет к себе отлеживаться; если, дома, начнется кровотечение или поднимется температура, — надлежит звать уже другого доктора, по возможности хорошего, или прямо ехать в госпиталь, ни в чем однако не признаваясь.

— Понимаешь, — объясняла Сабина накануне вечером: — Я так же ответственна перед законом, как и он. Поэтому надо молчать при любых осложнениях.

Боб подумал: достаточно возложить ответственность только на хирургов и заставить их к тому же возвращать назад гонорар, — чтобы доконать весь этот промысел.

И день настал... В третьем часу пополудни Боб нетерпеливо прогуливался по одной из боковых улиц у 2-го Авеню. Стужа, ветер. Солнце светило ленивее чем в феврале, скупо озаряя фантастический пейзаж: обожженный морозом город, тупоголовые дома, плоские крыши, фабричные трубы и человека, ждущего свою возлюбленную у подъезда сомнительного специалиста.

От холода и тоски Боб взмолился: «Поскорее уже. Если есть Бог, она сейчас явится и все будет кончено».

Вот она, Сабина. В шубке, в меховой шапке, похожая на ребенка, на подростка: дома ее ждут родители, какао, Давид Копперфильд.

Боб спрятался в подъезд, пропустил ее, затем догнал и крепко взял за руку: не останавливаясь она продолжала шагать, размахисто и безвольно.

Поднялись по темной, безличной, неопрятной лестнице на самый верх пустынного, запущенного дома. Такие дома попадают часто в Нью-Йорке: без прошлого, без будущего, не рождающие чувства интереса к своим жильцам.

Дверь отпер сам доктор Спарт, враждебно взглянул на Боба, что-то пробормотал в ответ на приветствие и повел их: длинный коридор, несколько пустых, необставленных комнат, затем комнаты с мебелью, но явно необитаемые... Очутились в свежее выбеленной зале с гинекологическим креслом в центре и стеклянными шкафами по бокам.

— Вы приняли ванну? — спросил Спарт. И Боб ответил, вытягиваясь, как перед командиром:

— Так точно, приняла.

— Раздевайтесь! — и добавил: — Решено, в случае осложнения вы не ищите меня, все равно не найдете... Не теряя попусту времени, везете ее в госпиталь, так?

— Да, — согласился Боб, — только я хотел спросить: нельзя ли ей отдохнуть здесь часа два-три, а не сразу...

— Нет, — отмахнулся Спарт. — Ехать надо пока наркоз еще действует. Раздевайтесь.

Был он тучный, лохматый, седой, с небритым, словно опухшим от сна лицом. Начал распределять инструменты, вату, шприцы, руководствуясь очевидно известными ему соображениями: одно клал налево, другое направо.

— Стерилизовано в госпитале, — объяснил он. — Будет хорошо. Впрочем, я не понимаю, почему люди отказываются рожать.

За дверью послышался странный шум: похоже, будто взрослый человек прыгает на одной, босой ноге. Доктор поспешно выбежал, бросив:

— Укладывайтесь сюда, я сейчас.

Сабина послушно улеглась: в светере, полуголая. И тут она взглянула на Боба: впервые за весь день, быть может, за

много недель, — словно пелена спала! Он стоял у ее изголовья и сосредоточенно улыбался, словно прислушиваясь к нарастающей, глухой, привычной боли. И Сабина увидела: низко над нею его глаза, — такие они бывали в минуты напряженного счастья. У Кастэра серо-голубые глаза, но под влиянием внутреннего потрясения они становятся синими, меняясь резкими скачками в своих оттенках. Она узнала их и то чувство, которое они вызывали: вот перед нею самое нужное в жизни, — щедро собрано и дано! «Боб». Он заметил перемену в ее лице, склонился еще ближе и быстро, быстро, настойчиво зашептал:

— Знай, нет инерции, фатума, рока. В христианстве с любой минуты можно начать сызнова, вернуться ,исправить, спасти. Ты еще можешь прыгнуть с этого подлого кресла: мосты не взорваны, свободный акт твоей великой души.

Она не слушала, досадливо морщась: зачем он говорит. Его глаза убедительнее, разумнее, понятнее. Какой он еще неловкий и глупый. И главное — ее, свой, ненаглядный.

— Уйдем отсюда, — вскричала Сабина, вдруг, опомнившись.

Сдерживая дыхание, с перекошенным лицом, он ее поднял со стола и, путая разные тряпки, помог одеться.

— Мы уходим, — грубо сказал Кастэр вернувшемуся доктору. — Могу покрыть расходы. Вы понимаете, мы уходим, операции не будет! — рассвирепел он, так как Спарт молчал.

— Понимаю, — согласился тот и неожиданно улыбнулся. Но некому было оценить это чудо: на ходу застегивая пальто, Боб и Сабина спешили прочь, тычась не в те двери.

— Сюда, сюда, — вопил доктор, охраняя жилую часть своей квартиры от их вторжения: — Направо . . .

28. Недоразумение

По звуку захлопнутой двери Спарт догадался, какое облегчение они испытали, вырвавшись из его дома.

Насвистывая что-то знакомое и старинное, он тщательно прибирал операционную, расставляя вещи по местам, часть

инструментов спрятал в потайной шкаф. Для своего странного, вздутого тела, передвигался он легко и быстро. Долго мыл руки под краном, но вытер их об рваное, замасленное полотенце. Вышел, заперев дверь на ключ. Проходя мимо одной из жилых комнат, он остановился и осторожно заглянул туда... Там на постели, съжившись, лежала его жена и, по обыкновению, прижимая к груди свернутый угол простыни, нежным шопотом убаюкивала некое воображаемое существо. По сути ее помешательства этот край простыни изображал ее мужа, хотя в то же время муж ее находился и в углу, под самым потолком: она и с тем перемигивалась, пересмеивалась, — седая, расстрепанная, грязная, морщинистая, со счастливыми глазами невесты. Причмокивая, жеманно кокетничая, стыдливо хихикая, вилая сухеньким тельцем, она заигрывала со своим идеальным нареченным.

Доктор Спарт молча постоял у порога. Впервые, за эти многие годы ее помешательства, он вдруг понял: в основе болезни жены — верное чувство! Он, ее муж, не оправдал любви, надежд, представлений... Она ушла в другой мир, унося на руках желанного супруга. Улыбнулся: подобного рода догадки успокаивали его, независимо от их содержания.

Вспомнил про тот аборт: ее, в Европе. Они тогда были совсем молодыми: студенты. Он желал ребенка, хотя учитывал все трудности, но она решила: слишком рано. Как далеко это и как близко: живо, больно. Это было в Вене: начало века. Но могло случиться и вчера или в Шанхае. Ах, если бы у них хватило мудрости и веры убежать, проделать то же, что выдумала эта смешная пара... Так, диллетант, шахматист, проиграв, ссылается на один, неудачный ход (дайте ему назад и он снова немедленно попадетсЯ). «Да, но события развивались бы иначе, — сам себе возразил Спарт: — Тоже неудачно, но по другому. А хуже моей жизни нельзя вообразить. Потому что просто не было жизни».

Доктор прошел в свой большой, заваленный, многими, казалось ненужными, предметами, темный и затхлый кабинет. Почувствовал знакомую боль в груди. Сел на диван, придер-

живая рукой сердце. «Вот так я когда-нибудь умру, — промелькнуло: — Здесь. Один. Буду лежать на этом диване или сползу на ковер. Пройдет день, два или больше, прежде чем спохватятся, постучат, взломают дверь. Полиция, понятые... Такие снимки печатают в газетах: угорел, самоубийство, разрыв сердца. Так и будет. Не сегодня, конечно, — по старой привычке решил он: — Но скоро, очень скоро». Мысль о смерти его не пугала больше и не возмущала. Липкой, запухшей рукой массировал себе грудь. Но он ценит покой, удобство, тишину. Его комната, — постель без простынь, пыль, запахи, — только казалась в беспорядке: он мог найти любую вещь или запись, почти мгновенно! И вдруг, ему предстоит сняться, ночью сесть в поезд, трястись куда-то со многими пересадками, — холод, вокзальный неуют, мутное кофе, сосиски, грубый кондуктор, опросы таможенных чиновников... Вот какой чудилась ему теперь смерть: сомнительное, трудное путешествие, в 3-м классе, с просроченной визой.

«Они дураки, эти дети, — вспомнил он снова своих сбегавших пациентов. — Наверное пожалеют. Но все таки побольше бы им подобных чудаков».

Доктор Спарт учился в Вене. Думал посвятить себя хирургии, а незаметно соскользнул на аборт. Почему? Любая «честная» практика не давала бы ему меньше дохода! На суде его стыдили: уважаемые коллеги ошельмовали Спарта. Уважаемые... Они делают то же самое, только соблюдают приличия. Светлые личности. Он, доктор Спарт, по крайней мере иногда пользуется больных бесплатно: на свой страх и риск. А они повесятся за 5 долларов. Впрыскивают витамины и гормоны, вырезают аппендиксы и амигдалы. «Ракетиры». Один вид «ракета» узаконен, а другой — нет! Вот и все. "But Brutus was an honorable man".

Спарта формально оправдали тогда, — на суде. Законы. Подлецы. Жить нет больших оснований. И даже умирать не стоит. «Но эта женщина. Такую можно полюбить. И этот черномазый. В нем что-то есть. Как будто ему перерезали артерию, он пальцем ее заткнул и продолжает жестокий бой.

Глупо, но что-то есть привлекательное в глупости. Вообще, мой недостаток в отсутствии глупости. Это, кажется, в первый раз в моей практике такое случается, — подумал Спарт, опять улыбаясь. — Только бы они завтра не пожалели и не пришли снова».

Ночь мучительная пора для Спарта. Укладывался он рано: часу в 7-м. Просыпался около 11-ти, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку сердца, к своим нерадостным думам; зажигал свет, перелистывал книгу, играл в шахматы с воображаемым другом, прогуливался по квартире, подавал жене воду или яблоко, снова растягивался на диване, вспоминал, ругал невидимых врагов, обидчиков. Под утро забывался беспокойным, смертоносным сном.

Его желтое, вздутое лицо покоилось высоко на подушке. Он потянулся уже за вторым фенобарбиталом, когда в коридоре неожиданно и резко затрещал звонок и вслед за ним раздались глухие удары в дверь. Спарт трясущейся рукою запахнул полы халата и побежал открывать, по дороге включая свет повсюду. Неуверенный в своем голосе, он молча распахнул дверь и увидел на пороге — Боба Кастэра.

— Доктор, — запыхавшись произнес тот: — Пожалуйста, доктор, кровотечение.

Усадив ночного гостя, Спарт попросил его толком объяснить, чего ему надобно... Сабина без всякой видимой причины почувствовала себя худо. Боб пробовал домашние средства, но обнаружилось: она вся в крови.

— Спасите ее, — сказал Кастэр, умоляюще. — Сделайте все, чему вас учила жизнь и школа. Не случайно мы с вами встретились.

— Вы хотите, чтобы я лечил вашу жену?

— Она еще не моя жена.

— Это все равно. Правильно ли я вас понял: вы не для аборта ко мне явились?

— Какие глупости! Мы должны их спасти.

— Подождите меня, — тихо сказал доктор: — Пять минут, — и, сбросив халат, начал облачаться. Седой, крупный, широ-

когрудый, он был внушителен и даже борода его, — лохматые, неряшливые космы, — не отталкивала теперь, не пугала; весь вид его суровый, пророческий, внушал доверие. — Я сейчас, — продолжал он скороговоркой. — Что такое пять минут. Я вас ждал всю жизнь, а вы пяти минут не можете потерпеть. Я буду принимать этого ребенка. Клещами вырву его. Я буду крестным отцом ему, понимаете? И вы не имеете права. Молодой человек, — угрожающе шагнул он к Бобу. — Если бы вы только знали, что иногда происходит в жизни . . . — и вдруг заплакал: неумело, беспомощно морщась.

29. Ночное бдение

Они мчались ночными, затемненными улицами; молодой таксист уверенно правил, трубя и не сообразуясь с цветными сигналами. Спарт чувствовал себя особенно празднично и бодро: все казалось по силам, — точно в молодости.

Дожидаясь лифта, доктор сказал:

— Вот сердце немного пошаливает, а то бы побежал вприпрыжку наверх. Знаете, я однажды встретил странного субъекта, с которым приключилась довольно забавная история...

Но в это время, молчаливый и освещенный, вынырнул лифт. Заспанный негр угрожающе сверкнул белками в сторону Боба.

Сабина лежала на спине, в напряженно отдыхающей позе: прислушиваясь, выжидая. Ее глаза, большие, карие, обрамленные густыми бровями, придавали ей выражение зоркой, хищной птицы; и только когда она смежала веки и нежные, длинные ресницы бросали жаркую тень на все ее похудевшее личико, — образ материнства, чистоты, страдания, опасности и надежды, возникал вдруг, подчеркнуто остро.

Доктор тщательно скреб руки, надевал перчатки, вообще принимал, казалось Сабине, излишние меры предосторожности. Изгнав Боба на кухню, Спарт приступил к исследованию.

— Вы хотите донести ребенка? — осведомился он. — У вас хватит воли и культуры выдержать предстоящие испытания? — И на ее детский, кроткий, утвердительный кивок

головой, отозвался: — Но вам придется остаться в постели, абсолютный покой, месяц, два, быть может шесть, хотя вряд ли. Мы спасем плод. О, если бы вы только могли понять, как я в этом убежден. Не бойтесь.

Сделав ей укол, он присоединился к Бобу Кастэру.

— Все будет хорошо, — сообщил Спарт. — Она сейчас заснет. Это не *Placenta Praevia*. Скажите, как вы думаете устроиться материально?

Боб ускользающе развел руками.

— Послушайте, — начал, волнуясь старик: — Я больной человек, я скоро умру. Все, что мне удалось скопить на аборт, я перепису на ваше имя. Вернусь назад, перечеркну все лишнее в прошлом, укреплю ценное, вы понимаете, вы понимаете?

— Я вам верю. Вы будете принимать ребенка, это решено, — стиснув зубы, сказал Боб. — Доктор, я должен вам что-то сообщить...

— Не надо, не надо, — взмолился тот, инстинктивно защищая свою душевную ясность.

— Я не черный. Со мной случился фантастический анекдот! — Боб вкратце изложил историю своей болезни. — Как вы думаете, ребенок родится негром, мулатом?

— Конечно нет, — восторженно заявил Спарт: ему все теперь казалось доступным и осмысленным. — Ведь вы не согласились, боретесь за свое подлинное лицо, не сдаетесь, не примиряетесь. Это главное. Вам еще повезло. Мы все не на соответствующих местах. Но как-то не замечаем этого или замечаем слишком поздно. А вам дали знак: последний шанс повернуть, спастись. Сигнал. Послушайте, милый, — настойчиво шептал доктор Спарт. — Я так счастлив. Бог меня хранил для этого именно часа. И я его не упущу. Зубами вцеплюсь. В крайнем случае, сделаю Кесарево Сечение. И вы не уступайте. И у вас подобие Кесарева Сечения. Все так просто. Завтра же пойдем к адвокату, перепишем завещание. Жена после моей смерти будет в клинике, недолго, впрочем...

— Вы полагаете, она меня любит? Может любить? — прервал его Боб.

— Такими вопросами вы убиваете ребенка, — рассердился Спарт. — Возьмите себя в руки. Она лежит теперь там и прислушивается к шуму новой жизни. Своею кровью, волей и духом созидает целый мир. Что это, не любовь? Меньше любви? Вам нужны клятвы, а потом аборт. Дураки.

— Золотое у вас сердце, папаша, — расстроганно улыбнулся Кастэр. — Пойдите, вы внизу у лифта хотели мне что-то рассказать про любопытного субъекта?

— А... это относится ко времени забастовки лифтеров. Один мой соотечественник, довольно известный музыкант, был вынужден подняться пешком к себе наверх, под самую стратосферу и чуть не сошел съума. Он вдруг увидел весь дом, а с ним и жизнь, в новом разрезе и ужаснулся.

— Я встретил этого человека, — почему-то волнуясь, вскричал Боб: — В парке, виолончелист.

— Он еще жив? — удивился Спарт. — Странно.

— Доктор, — начал робко Боб. — Я хотел только спросить. Вы сами говорите: больны, стары. Представьте себе: в решительную минуту вам вдруг станет худо. Я думаю надлежало бы принять меры... — он не кончил. Поникнув головой, Спарт сидел, темный, заросший, тучный; морщась, с трудом переводя дыхание, сказал:

— Неужели вы допускаете, что в основе жизни лежит глупость, недоразумение?

— Нет, — решительно ответил Кастэр. — Я уверен в противном.

— Ну тогда, как же может произойти такой конфуз! Нет, уверяю вас, это абсурд. Если суждено, я умру на одну минуту после. И конечно, будет ассистент и все что полагается.

В соседней комнате мерно дышала Сабина: смугло-матовое личико с веером ресниц. Боб все больше и больше проникался страхом. Впервые в жизни. Ощутил земную, кровную, пламенную тоску и всполошился. Почувствовал себя беспомощным. Отныне надо переложить ответственность на специа-

листов, жрецов, а самому бездействовать, уповать. «Боже, Боже, — взмолился. — Дай мне веры, Твоей веры». Захотелось припасть к Сабине, теплой, тихой и мудрой, включиться, составить вместе одно целое, навсегда.

Сабина очнулась; радуясь, что ею занимаются, благодарно, кротко улыбнулась, потянулась к Бобу. Ей было лучше.

30. Будни

Жизнь, которую Бобу Кастэру пришлось вести в последние месяцы, была так перегружена заботами о насущном, что не хватало почти времени для мудрствований и душевных передрыг. По началу он этому даже обрадовался. Но вскоре, однако, забил тревогу, опасаясь, что из-за деревьев не увидит больше леса. Ибо основная его тема оставалась все прежняя, и соблазнительные подачки, толкающие обычно на компромисс: семья, дети, уют... не могли, не смели уводить его от главного.

Сабина пролежала в постели около 8 недель. Следовало наладить какое-то приемлемое существование. Боб переселился было к ней, но суперинтендент конфиденциально сообщил: домовладелец — либерал и лично согласен, однако, квартиранты протестуют: белая и негр!

Заодно, с Магдой снова творилось что-то неладное: припадок меланхолии. Угрожала самоубийством. Боб совершенно измучился: бесплодные, метафизические беседы. Ей совсем не этого нужно. Боб бессилен. И ночами, после работы, судебно-медицинских исследований и Сабины, должен на своем узком диване философски утверждать в Магде волю к сопротивлению. В виде диверсии привел ее к Сабине. Казалось: удачная мысль. Сабина, плача, облобызала ее и Магда принялась нежно ухаживать за больной. Но по мере того как последняя крепла, отношения между двумя женщинами явно портились.

«Она усатая», — говорила Магда, содрогаясь, точно прикоснувшись к гадине: — «Неужели ты не видишь что она шлюха»!

Боб запрещал ей так отзываться, просил не вмешиваться в его дела, но без последствий. Слезами, припадками, доводами, вроде: я тоже могла забеременеть от тебя . . . она добивалась особых прав.

Что касается Сабины, то она долго плакала и целовала Боба после первой встречи с Магдой.

«Если я тебя брошу, ты погибнешь, — решила она удивленно. — Сильный, большой, две недели слонялся без меня и докатился: собачья свадьба». Она испытывала чувство какого-то омерзения при мысли о Магде. Узнав о ночных, философских бдениях, Сабина, усмехаясь, сказала: «Метафизическая шлюха». Но все же крепилась, скрывала свою брезгливость, стараясь проявить побольше благожелательности и внимания. Со всем не ревновала к Магде: внешность не подходящая. Только не верила, что она превратилась из белой в цветную. Считала ее способной на любую ложь, а Боба слишком наивным. (Этот вопрос Сабина боялась затрагивать).

Как бы там ни было, Магда нарядившись в белый халат, просиживала у Сабины целыми днями, иногда, впрочем, и ночуя. Ходила за больной, кормила, прибирала, штопала носки Бобу. Когда в состоянии пациентки наблюдалось ухудшение, буквально таскала ее на руках, согревая, ободряя, урезонивая. Но стоило опасности миновать, — откровенная, уже не прикрытая, смертная, взаимная ненависть, вытесняла все другие чувства из их груди. Сабина норовила почаще обнажать свое ладное, приспособленное к ласкам тело, зная, что у Магды от этого стынет, сворачивается кровь . . . (Вот, вот вцепится зубами или пырнет ножом).

В общем, напряжение такой борьбы их даже развлекало. Им мнилось: спор идет за душу Боба. Его надо спасти от дьявола (в образе второй женщины). Если помочь ему, он скинет с себя и растопчет ногами гадину (как в древней сказке, когда чары сняты, рыцарь зрит: прижимает к груди жабу). Боб, конечно, старался смягчать их вражду и часто портил своим вмешательством. Раз выдумал следующее: «Магда — мой долг, гири, а Сабина — награда, праздник». Расчитывал таким

утверждением их утихомирить. Боб Кастэр вел слишком трудную игру, чтобы помнить еще о тонкостях, орнаментах и узорах. Главное: основная задача. От солдата, который держит форты под Сталинградом, нельзя еще требовать хороших манер и начищенных до лоска сапог. Долг: удержать Сталинград... и с этого угла его будут судить. Заботой Кастэра на данном этапе являлось: избежать потери, гибели... Никто не должен прыгнуть из окна, перерезать себе горло бритвой или скинуть ребенка. Ибо, когда смерть просунет свое рыло, тогда исправлять, возвращаться по собственным следам, восстанавливать, уже поздно, почти невыносимо. А пока, все обстоятельства, нагроможденные случаем и необходимостью, казалось Бобу, еще могут перемещаться и поддаваться воздействию.

Кастэр маневрировал теперь лифтом в большом здании на 42-ой улице. Восемь часов в день швырял свой «экспресс» до 19-го этажа, затем, с остановками, до 32... потом назад, тем же курсом. "Watch your step! Watch your step!" Опускаясь все ниже по социальной лестнице, Боб постиг еще одну истину. Он понял, что, зарабатывая 26 долларов в неделю, негр действительно пахнет хуже, чем добывающие 50 или 100, жена его неотесана, а дети без призора.

Хирург, приятель Поркина, все настойчивее подбивал Боба на частичную пересадку кожи. Доктор Спарт не оспаривал самого метода, но советовал повременить. Боб согласился с его доводами, решив, однако, сделать это, во всяком случае, — до родов. (Так, в феодальные века, иной крепостной, у которого забеременела жена, спешил выкупиться, — дабы ребенок вошел в мир вольным).

Все внимание Боб сосредоточил на юридической стороне вопроса. Ему хотелось до венчания раздобыть бумажку, удостоверяющую его подлинную расу. С этой целью собирался смотаться в Вашингтон, который опять медлил с ответом. Спешить надлежало еще по следующей причине: немногочисленные свидетели, которые могли под присягой поддержать Кастэра в его домоганиях, необычайно быстро рассеивались, уезжали, умирали. Этот процесс, вообще естественный в боль-

шой стране, усложнялся еще обстановкою военного времени. Люди пропадали, снимались с мест, катили за тридевять земель, где платили за работу больше, а их адрес часто являлся государственной тайною. Миссис Линзбург, согласившаяся было выступить и свидетельствовать в пользу Роберта Кастэра, неожиданно, в ночь с пятницы на субботу, после синема, почувствовала себя худо и скончалась до прихода врача.

Прайт, старый адвокат Боба, окликнул его однажды в лифте: «Его величество случай. Мир действительно тесен». (Он и статьи свои писал такими отрывистыми фразами). Тут же предложил Бобу выгодную службу: много денег, мало хлопот, свободные «викенды». «Путает, негодяй, опять что-то путает», — догадался Кастэр. От синекуры отказался, но пригласил его на чашку чая. И Прайт начал бывать у Сабины. Бледный, беспокойный, жалкий какой-то. «У вас внешность человека с нечистой совестью», — шутил Боб: все, и Прайт, смеялись.

— Ах, жизнь, жизнь, — со вздохом роптал адвокат.

31. Соблазн

Средств требовалось значительно больше, чем давал скудный оклад Боба; в сущности, он жил на три дома: своя комната, Сабина и помощь Магде. К счастью, доктор Спарт полностью взял на себя заботы о Сабине. Но все же денег было мало. И получив письмо от Макса (патрона Сабины) с загадочным предложением: зайти по интересному делу... Боб не преминул воспользоваться приглашением.

Макс встретил его подозрительно ласково, даже одобрительно отозвался о книжке Кастэра, посвященной Испании. Там сидел еще профессиональный писатель, насколько Боб мог понять, финский драматург, и площадной руганью крыл агента и Америку. Речь шла обычная: перестроить, сократить, изменить, дописать.

— Никогда! — клялся драматург. — Если я дам эту вещь, то в форме мною задуманной и только! Ребенку нельзя отрезать уши, даже если они у него оттопырены. Искусство орга-

нично. Произведение рождается подобно живому существу, а не строится на манер машины. Мы не имеем права переставлять части по нашему капризу.

— Но вы сможете таким образом реализовать хотя бы часть своего замысла, — вкрадчиво объяснял Макс: — Лучше как-нибудь продать, получить деньги, имя, а после вы свободны делать, что хотите: с именем это легче.

— Тогда у меня исчезнут все идеи и ценные чувства, — брезгливо возражал финн. — Именно так начинает каждый сутенер и Иуда: немного, временно. А кончает духовной смертью. В Европе тиранические режимы соблазнили интеллигенцию чинами, орденами, пайками и угрозами пыток. А вы, хитрые, покупаете их дешевле: золотом. Не обманывайте себя: купить можно только продажное. У вас нет святых, теоретиков, ученых, композиторов, художников, скульпторов... И не будет. Даже Христофор Колумб не был американцем. Вы привозите, как товар, из других стран гениев, но стоит им ступить на вашу землю, подышать этим воздухом и они духовно превращаются в паразитов, выдыхаются, светят собственным отраженным светом! — писатель давно уже обращался к Бобу, чувствуя в нем, черном, возможного союзника. — Вы знаете, — продолжал он, улыбаясь: — Моя приятельница, аграрный химик, утверждает, что анализ здешней почвы показывает очень низкое содержание эфирных масел: по сравнению с Европой. Вот почему ваши фрукты, овощи, цветы и вина не пахнут, не имеют вкуса. А между тем вы строите небоскребы, которых другие континенты не могут удержать на своей поверхности. Это объясняется особым характером американского материка. И я думаю: возможно, что в этой земле есть особые иррадиации, убивающие способность к духовному творчеству, — превращают людей постепенно в скопцов, в мумии... Такие лучи... или, наоборот, отсутствие необходимых для творчества излучений, — финн заговорчески подмигнул Бобу.

— Вы совершаете ошибку, когда говорите о Соединенных Штатах как о чем-то законченном, готовом, данном, — неохотно возразил Кастэр. — Америка — колония. Сто лет тому

назад средний запад был еще прерией и дикари торговали скальпами. Сравните Америку с Австралией, Новой Зеландией и вы поймете какое это чудо: то, что уже сделано. Вы понимаете: колония! Войдите в бар и посмотрите, как десять мужчин окружают одну бабу, и вы вспомните времена, когда с корабля высаживались триста мужиков и две проститутки.

— Может быть, может быть, — хмуро согласился финн, потеряв интерес к своему собеседнику. — Самый факт, что Америку надо было «открывать», ведь тоже не случайность. Если предполагаешь, что каждый человек одинаково сотворен Богом, то негодуешь, требуя от всех совершенства. Но если допустить что столько-то лет тому назад человек еще был моллюском, превратился в обезьяну, потерял хвост, встал на задние лапы и надел фрак, то, конечно, нет места для отчаяния. Перед Америкой великое будущее. Надо только глотать витамины и улетать на «викенды» в Старый Свет.

Устало кивнув головою, драматург вышел.

— Ужасное зрелище, — сказал Макс. — Зачем они приезжают сюда?

Но Кастэр не поддержал этого разговора; тогда Макс сделал следующее предложение... Пускай Боб напишет историю своей трансформации: 1000 долларов аванса. Но, однако, требуется разумно обосновать это преобразование. Не фантастика, а реальность: human. Например: отец Роберта Кастэра был негром, Боб этого мог не знать. Или: герой рехнулся и вообразил себя черным, близкие ему не перечат, чтобы не раздражать.

— Какая гадость, какая гадость, — с отвращением шептал Боб, чувствуя себя теперь на положении только что бежавшего финна. — Вы требуете уступок для предполагаемого читателя, который умнее и честнее вас, гнусных паразитов, посредников. Подкупая, развращая нас, вы готовите себе самим страшную гибель. О, скорее бы!

— Пожалуйста, пожалуйста, — бормотал смущенно Макс. — Я хочу вам добра. Я так люблю Сабину, — он вдруг понял, что имеет дело с неуравновешенным маниаком. (Другие его

клиенты спорили и ругались не менее резко, но подозрение в преступном помешательстве легче возникает в связи с негром).

На этом они расстались. Однако, мысль о тысяче долларов посеяла в сердце Боба приятное сомнение. (А что если — пять тысяч?).

32. Вечера

По вечерам, после изнурительного дня вертикальных путешествий, юридических консультаций и медицинских опытов, Боб Кастэр, опустошенный, являлся к Сабине. Утомляла бессмысленность сомнительных усилий... Дайте ему видимого врага и он сцепится с ним: погибнет или победит! Как это просто. Он завидовал своим древним предкам, их обнаженной борьбе, — на живот или на смерть, — с неускользающим, трехмерным противником. А тут: мелочное, хитрое, бесцельное круговращение... Основная цель незаметно отодвигается и внимание все больше приковывается к ряду спорных, второстепенных забот, подготовительных мер. И так соблазнительно легко сдать, надо только сказать: «Бог, вероятно, со средними налогоплательщиками: едят, пьют, трудятся, в меру застрахованы, подчиняются хозяевам жизни, если нужно, отнимают кусок хлеба от чужих детей, чтобы накормить собственных. Смирись, гордый человек».

Но Кастэр родился белым, с единственной, незаменимой, по частям, душою, ему шептала песни мать, его избрала Сабина, — именно Боба!

В революциях и войнах Боба Кастэра возмущало главным образом не преступное количество убитых и замученных физически, а попутное, организованное уничтожение всех возможных источников творчества. Некоторые люди, правда, реализовали себя чрез такие исторические бани, но они исключения и притом сомнительные. Гибель детей — этого резервуара гениальности... Подростки, юноши, даже уцелев, оказываются вывернутыми наизнанку, искромсанными, с мозгами набекрень, превращаясь в дикое месиво, в духовный шлак. Невозвратимая, не поддающаяся учету утечка Моцартов! Из

многих обманов, царствующих в обществе, Кастэра больше всего удручал лицемерный миф о гении: не погибнет, пробьет себе дорогу, несмотря на любые преграды . . . факт на лицо, — и перечисляли известные имена. Те же, что падают на пол-пути, — очевидно не то, послабее! Удобно и просто. Нечто похожее на беспроигрышную лотерею. Конец принимается за начало и успокаиваются.

«А что если это не верно, — с ужасом думал Боб Кастэр. — Какая ответственность! Наш грех: против Святого Духа. Весь строй этой земли направлен в другую сторону, получается впечатление, будто основная задача как можно скорее обезличить ребенка, обкарнать, изуродовать человека, оскотить потенциального святого или героя, превратить в честных ящериц, в насекомых на манер пчелок. Конечно: птицы небесные . . . а Сын Человеческий не имеет где приклонить голову. Но с той минуты как мы это усвоили, нельзя ли изменить вопиющий порядок? Пришел же Христос на землю, значит, предметы должны раздвинуться и дать Ему место и всему вдохновенному, что от Него. Вот куда пора направить усилия реформаторов. История до сих пор этим не занималась. Восьмичасовой рабочий день и социальное страхование — давно пройденные этапы: еще одна война — и даже индусы будут обеспечены голодным пайком. Но как охранить неведомых Моцартов? Их гораздо больше чем мы думаем. Кто оценит безделье художника, созерцательную лень философа, неподвижность святого, неудачу поэта? Одиночество, пустыня, пытки . . . А потом иногда приходит поп, критик и жандарм: канонизация. Доколе будет продолжаться это безобразие? Ерусалим, избивающий пророков, дикари, сжигающие своих первенцов. Нельзя ли, не пора ли изменить? Какими путями?» . . .

Об этом они часто беседовали по вечерам. Горел камин, уютно светили лампы. Сабина лежала одетая, укутанная, крупная, с маленьким личиком, — храня силы в неразвернутом виде: стараясь поменьше двигаться, шуметь, производя впечатление более зрелой, мудрой. С тех пор как она поправилась, последние признаки беспокойства исчезли из ее души. Будущее ме-

решилось не легким, но решенным и понятным. Даже внешне изменилась: без лишней, волнующей, невнятно обещающей (и потому обманчивой) красоты... Нежная, полная, уверенная, она как бы свела, на время, свои метафизические счета, зная все, что ей надлежало теперь знать, и отменяя остальное, быть может интересное, но сейчас ненужное.

К дивану придвигался стол, накрытый крахмальной скатертью с ложно-русским узором; аппетитно дымил цейлонский чай, нагромождалась закуска, выстраивались бутылки двух, трех сортов вин. Магда с молчаливым укором приносила из кухни то забытые ложки или ножи, то соль, попыхивая своей вечной папиросою, сыпая по сторонам пепел. Доктор Спарт со смаком отхлебывал чай, ел бесчисленные микроскопические сэндвичи, приготовленные Сабиною; насытившись, ввязывался в разговор, начиная издали, точно некстати, со множеством отступлений и примеров.

Все чаще и чаще наведывался и бедняга Прайт. Боб продолжал уделять ему внимание, исподтишка следя за ним. Забавляла чистосердечная простота этого шестифутового ходатая и ценителя изящных искусств. «Ведь успеха вы не достигли и не достигнете, — беспомощно недоумевал Прайт. — Что же и х так волнуется? Объясните в чем дело? Я ничего не понимаю». Постепенно выяснилось, что он встречает одного джентльмена по имени Kurt H. Smith, который очень интересуется Бобом. Kurt H. Smith располагает крупными средствами и готов помочь достойным людям, но вообще он не брезгает и другими приемами, одинаково хорошо владея, как ножом, так и пистолетом.

Делился своими сведениями Прайт в первую очередь с Сабиною, в которую сразу и до неприличия откровенно влюбился. Сидел часами у ее изголовья, развлекал, восторженно каялся в прошлых увлечениях. Обнаружилось, что он подлинный сердцеед и был героем сложных амурных драм. Сабина взяла его под свое покровительство: «В нем что-то хорошее, если он мог привязаться ко мне». Но этого же было достаточно, чтобы Магда его возненавидела. Сабина веселела, беспричинно

счастливая, гордая очередным успехом и вдвойне любящая Боба: радуясь за него . . . и чуточку кокетничая. Боб понимал: такова ее природа и дурного в этом мало, но сердце его сжималось от страха, боли и негодования. Он подозревал, что именно жалкая позиция Прайта, его ничтожество, способны были растрогать Сабину, вскружить ей голову.

Магда выслеживала их, подслушивала, потом доносила Бобу. «Одним словом, их отношения можно назвать пара-сексуальными», — неизменно заканчивала она.

— Что-ж, — возражал Боб. — Мы с тобою другие люди. Совсем другой породы. Но это не значит, что она плоха. Однажды, в Париже, у стойки кафэ, случайный собеседник мне сказал: «Вот, вы, кажется, очень умный человек, все понимаете и чувствуете, но пока вы не встретите женщину, у которой, без рассуждений, будете готовы лизать пятки, вы только мальчишка, щенок и болтун».

— И ты лижешь ей пятки? — спросила Магда.

— Нет, кажется. И не в этом суть. Но я начинаю понимать своего старого собутыльника. Хотя и тогда я не смеялся. О, нет.

(«Боже мой, что я делаю! — испуганно взывала душа Боба: — Занимаюсь глупостями, время течет. Посмотри на эту руку: она черная, давно уже, и такой остается. Ночь. Безумие. Окружен друзьями: утешают меня, но совсем не помогают. И не должны помочь»).

Вражда между Сабиную и Магдой, благодаря «пара-сексуальной» обстановке, в конце укрепилась. Но к чести Сабины следует отметить: она не пыталась отделаться от ненавистного соглядатая, — ведь легко могла прогнать ее. «Я всегда чувствую свою вину перед отвратительными личностями и стараюсь ее загладить, искупить», — призналась она как-то Бобу.

По вечерам, когда все собирались, воздух этой неизменной злобы рассеивался, беседа струилась оживленная, мирная и доброжелательная. Кастэр высмеивал галантные ухватки Прайта; мрачные выпады Магды смягчались удачными шутками Спарта, который оказался весьма остроумным. Так создалось

их маленькое объединение, окрещенное Сабиной — «Возвращение к детству». Обсуждались военные события, обменивались впечатлениями, спорили о немецкой культуре; (Спарт утверждал: Толстой и Достоевский связаны с большевизмом, а Гете и Шиллер ответственны за *Mein Kampf*). Попутно делились воспоминаниями и личным опытом. Боб даже сочинил род поэмы, — Дарданеллы, — и читал ее вслух.

33. Дарданеллы

Дарданеллы это узкий пролив, по которому может плыть только одно крупное судно, — не садясь на мель и не задевая берегов.

На берегу установлены батареи с таким расчетом, что всякий идущий мимо корабль попадает в фокус артиллерийского огня: достаточно нажать кнопку и смертельный шквал свинца низвергнется на смельчака.

В жизни любого человека есть такие Дарданеллы: когда его курс лежит через узкое горло и тяжелые орудия готовы обрушиться на него, — яростно, сразу. Все проблемы... Социальная: честный гражданин вдруг обнаруживает, что он проживет и умрет нищим, а вот другим доступно многое, благодаря деньгам. Сексуальная: он женат и привязан к семье, а все-таки не удовлетворен... хочется любви еще, так и кончит, разминувшись с обещанным даром. Биологическая, религиозная: молодость прошла, начались недомогания, а впереди неминуемая пустыня, смерть, и душа бунтует.

Этот период обыкновенно наступает после тридцати лет. Возраст Господень. Как у Данте: посередине странствия земного.

У капитана на выбор несколько возможностей... Одни тушат котлы, выключают машины, бросают якорь по близости (или возвращаясь немного назад), мелкими тружениками, добрыми отцами заканчивают свой рейс, бессознательно перекладывая тяжесть прорыва на плечи потомства. Другие, с поднятыми флажками, мечутся, спуют, петляют, жульнически вертятся у опасного пролива, создавая иллюзию движения,

предприимчивости, творческой удали. Если это поэт, он избирает себе звучный псевдоним и вылизывая у трагических современников или предков самое доступное, поддающееся популяризации, преподносит толпе, пожиная плоды подвигов безвременно погибших героев. Если это ученый или философ, то он крадет две, три мысли у часто враждебных друг другу учителей, сплавляет их, со вкусом сглаживает углы, создает оригинальную теорийку и, выслужив орден, достойно и обеспеченно доживает свой век, ревниво следя за успехами многочисленных, понятных ему конкурентов. Если это акробаты-циркачи, то они повторяют опасный номер, даже подняв чуть повыше трапеции, — с тою разницей, что внизу тщательно прикрепляют спасательную сетку.

Есть еще выход: юных, одержимых, Артуров Рэмбо. Восторженно, налегке, они кидаются очертя голову и получив смертельный удар идут ко дну, оставляя о себе память и песни в грядущих поколениях.

Наконец Бетховен, Толстой, Пастер, Микель-Анджело . . . Вооруженные всеми дарами молодости и техники, богатые опытом, своим и чужим, закаленные в борьбе и походах, эти дредноуты уверенно, ночью, с потушенными огнями, осторожно подкрадываются к узкому горлу (память об этом часе жила в них еще до рождения), — и неожиданно бросаются на прорыв. Раньше чем дежурные посты догадываются зазвонить тревогу, тяжелый броненосец, сразу сумев лечь на правильный курс, полной мощностью своих винтов успевает прогresti уже пол-пути. Получив первое накрытие, ему, однако, удается развернуться и двубортным огнем своих чудовищных башен он мгновенно заливает, давит сторожевые батареи. Подбитый, с пробоиной, потеряв часть экипажа, — в трюме хлещет вода, палуба в крови, на корме вспыхнул пожар, — дредноут проносится через опасную зону. Содрогаюсь от стука машин, в огне и дыме, с предательским креном, он гордо врывается в открытую, чистую воду, — где море, небо и земля уживаются без противоречий. Внушительный, изуродованный красавец-великан, он скользит вдоль обетованных, заказанных берегов, грозный и

всем чужой, скрывая свои пробоины и ужасающий опыт. Но тут происходит скверное чудо. В образовавшуюся дыру, вслед за победителем, устремляется всякая дрянь, плотва, посредники, контрабандисты, торговцы белым товаром: религии, науки, искусства. Они мечутся у высоких, обгоревших бортов гиганта, апплодируют, объясняют, даже учат, пишут воспоминания, критику, историю. Многие из этой наглой братии удосуживаются без труда заплыть подальше самого броненосца, возвращаются назад с коммерческой прибылью, снова отлучаются и внешность у всех благообразная, сытая, общественно полезная, при верных женах и дорогих любовницах. Дредноут постепенно начинает гнущаться совершенным подвигом. И когда на суше, учитывая последний разгром, ставятся новые батареи, с большей кучностью огня, у него нет уже причин или охоты немедленно подавить их орудиями своих почерневших башен.

34. Спокойной ночи

Расставались около полуночи. Изредка Боб заночевывал: умоляющий, упорный, обиженный, — побитой собаки, — взгляд Магды. Она быстро собиралась и, гадливо ежась, выбегала, грубо опережая навязывавшегося в спутники, дон-жуана Прайта.

Следом за Магдой медленно выходил Спарт. Страдая бессонницей, он в теплые вечера еще долго сидел в парке на скамейке, крихтя и позевывая.

А весна в Нью-Йорке уже быстро развернулась, стремительная, тропическая, однонедельная, несущая в себе ядовитые семена грядущих времен года: лета, жары, духоты, испарины, осенних дождей, студеных ветров, простуды и гниения.

Боб осторожно укладывался в постель; Сабина сразу открывала ему объятия: принимая, кутаясь, ища нежности. Похоже на счастье. Сабина не портила этих часов, не отравляла, не будила сомнения. Но порою, в самых неподходящих сочетаниях, она вдруг прорывалась замечанием, от которого у Боба Кастэра по старому темнело в душе и жизнь с шумом пролив-

ного дождя барабанила где-то снаружи, ненужная и постылая. Так, однажды, вспомнив о давней, известной Бобу, случайной связи, она проговорила: «До того он два года сидел в концентрационном лагере, без женщин».

«Ну как это усвоить, впитать, переварить? Хорошо, я снова стану белым, выздоровею. Но это, это, это останется? — вопила его душа. — В ней есть что-то от суки, не развращенной, чистой, искренней. Но и во мне есть от кобеля, причем смердящего кобеля. Минус на минус здесь не дадут плюса. Значит все погибло и любовь не может такого перечеркнуть? Тогда не стоит жить, материя выше духа, зримые факты сильнее. Так ли? А, может, это трусость, неумение, идолопоклонство? Спокойно, спокойно, зывал Боб. — Что такое материя, ее плотность, устойчивость? Прочность цепи измеряется по наиболее слабому ее звену. Пропускаемость моста определяется самым узким его пролетом. Но в духовном плане все наоборот. В этом торжество духа над материей. Поэт судится по лучшему своему стихотворению, ученый по гениальной догадке, святой по подвигу, а не прошлым падениям».

Он лежал в темноте, напряженно вытянувшись, обычный комок, — спазма пищевода, — душил его; с горечью шептал: «А все-таки я проиграл. Надо быть честным и мужественным, сделать выводы: я проиграл».

— Неужели это навсегда сохранится и будет отбрасывать нас? — голос Сабины: с тоскою, и в то же время ликуя... Она в центре любовной бури, пусть мучительной, но праздничной и напряженной.

— Можно уничтожить, преобразить, — с усилием, сурово и жалостливо решил Боб. — Надо только очень возмутиться, долго болеть, не захотеть принять. Гадости не вечны. Гадости торчат только во времени. Гадость умирает и небытие это сверх-гадость. Существует только существенное. То, что сотворено Богом, вечно, а остальное ничто, вакуум, недоразумение. Человек должен только выбрать и показать, с кем он интимно связан. От чего никнет, страдает, что утверждает в жизни, к чему тянется, чем дышет. «Великая и страшная борьба

ждет человеческую душу», — вспомнил он вещие слова языческого философа. — В этой борьбе и решается судьба души, а, может, и всего мироздания. Главное, — продолжал Боб Кастэр: — главное, мы не знаем в какую минуту жизни или смерти, на каком поприще душе навяжут этот бой. Человек всю жизнь думает, что его назначение астрономия, а подвиг ему вдруг нужно совершить в семейном плане. «Да будет воля Твоя».

Так говорил Боб, чувствуя: блаженно удаляется, взлетает, прикасается к некоему целительному источнику... Все делалось легче, доступнее, яснее. И через это счастливое состояние он возвращался назад к Сабине уже с другой стороны: понимающий, сильный, отечески, мужественно близкий, с опытом со-причастности, со-вины. В голове что-то облегченно сдвигалось: хотелось немедленно, по новому, начать действовать, жить. Но когда он задавал себе вопрос: как же это по новому... он ничего не мог придумать, кроме отказа от Сабины, от борьбы за свою кожу, за свою нерушимую личность. Поворот на 180 градусов. А этот древний путь монастыря, испробованный многими, его возмущал и совсем не представлялся в данном случае желанным. Его тема, всю жизнь нашу целиком, сохраняя богатство и сложность, поднять, втиснуть в рамки благодатного бытия, — а не удовлетвориться двумя, тремя вылушенными зернами ее.

— Перед невходящими во встречные двери распахнутся врата... — повторяла Сабина строчку из его старой поэмы. Она любила стихи Кастэра, воспитывала в нем интерес к его художественному прошлому и даже гордость, досадуя на него за пренебрежение и халатность.

Боб сам воспринимал эти произведения как чудо... не понимал, кем и когда они были созданы... действительно ли Робертом Кастэром? В Америке он потерял дар и всякое творческое поползновение. Однажды, Боб гулял по вечерней улице в Бронксе... Вот напротив коттедж, — в угловом окне, за белой шторой, вдруг, зажглась лампа. Кого это касается? Бывало, его сердце сжималось поэтической грустью в такую

минуту; хотелось узнать, кто живет за этими стенами, — девушка перебирает клавиши пианино, мальчик читает Диккенса, ночью мать обнаружит: весь в жару. Какая у них жизнь впереди, у каждого своя. А тут Боб Кастэр равнодушно прошел мимо, не дрогнул, его эти люди не занимают: их прошлое, настоящее, будущее однотипно и без благодати. Раз еще, он брел по набережной Гудзона и вдруг его осенило: в Европе река преисполнена поэзии. Гранит, отражения огней, женский силуэт, гудки машин въезжающих на мост, даже фабричная труба на том берегу рожают какие-то воспоминания, сравнения. А тут, все гладко, без тайны, уныние, скука. «В Соединенных Штатах нет лирики, — записал Боб на обложке своего старенького блок-нота. — По крайней мере во мне она убита!»

Конечно, цепь неудач, захлестнувшая Кастэра, тоже не способствовала его творческой жизни. Художник немного похож на шофера: нельзя напрягаться до последних границ, уделять все внимание рулю, — тогда наверное заденешь фонарь. Нужен не максимум настороженности, а оптимум в сочетании с другими способностями. Хорошо знать о страданиях и грехе земли, но слишком большая пытка или явная смертельная опасность не позволяют созидать, взращивать.

— Обними меня вот так, — шептала Сабина из темноты.

И снова она. Блаженство на пороге рая. Минута, когда ворочаясь, словно плывя на спине, она испускала свой жестокий, торжествующий крик: не человеческий. Боб разгадывал ее лицо: страдальчески сладостное, занесенное в другой мир, восхищенное. Будто действительно, стоя крепко ногами на земле, Сабине удавалось припасть к небу. Чувствуя себя соратником, автором, ваятелем, он был горд и счастлив. Теперь он знал. Рай — это давать больше чем получать, сеять радость, одушевлять материю.

Юношей, собираясь писать стихи или дневник, Кастэр всегда испытывал томление духа, подобное рвотной тошноте: душа его напряжена до отказа, а тело не участвует, должно застыть в совершенном бездействии. Какая нелепость. А есть виды творчества, где от мастера требуется подлинное физиче-

ское усилие. Полярный исследователь. Микель-Анджело, взрывающий глыбы мрамора или годами раскачивающийся вниз головою под куполом Сикстинской Капеллы. Дирижер, неистово поднимающий и заглушающий то трубы, то скрипки. Боб Кастер завидовал им. И только в деле любви, где сочетаются элементы атлета, скульптора, музыканта, завоевателя новых земель, он открыл вдруг возможность использовать, одновременно, многие свои душевные и телесные способности.

— Теперь ты станешь моей собачкою? — нежно и грустно спрашивал он.

— Я бы хотела, чтобы твоя кровь потекла в моих жилах, — изнеможенно шептала Сабина.

35. Флора и фауна

В ночи, когда Боб застревал у Сабины, Магда отправлялась спать в его комнату.

Ехала трамваем и собвеем; брела мимо нищих домов, лавок, гаражей и баров. В теплые, холодные, сухие, мокрые, зимние, весенние вечера одетая почти одинаково: тот же потрепанный, без возраста, бурнусик, в открытых, старых туфлях, сгорбленная, худосочная, — толкни, упадет, но какая упрямая! Она сильно изменилась за последние месяцы.

Маска желтовато-темного лица, со смеженными от усталости и бессонницы, припухшими, веками. Побитая, обездоленная собака, неприятная, но именно такую следует пододбать, согреть, накормить. (Глупцы по объявлениям ищут молодых породистых сетеров, чистых кровей).

Магда плелась, в одиночестве, вспоминая своего четырехлетнего сынишку. Бывало, она вот так возвращалась с мальчиком: держала за руку, — в слякоть, в темноту, в сиротство. Тогда из пальцев ребенка в ее большую, нелепую руку текла сила и вера. Сын с надеждой и любовью давал себя вести: хоть на эшафот, — мать знает, мать добрая. А она в это время думала: куда итти, надо ли вернуться домой и завтра снова жить... Хорошо бы иметь большого отца, тихо следовать за ним. Это и есть Бог. Кругом черно, неудобно. Ребенку жутко.

«О чем ты думаешь?» — спрашивала Магда. «Я думаю о волке, огромном, со злыми зубами — отвечал он, а потом: — Это очень страшно, Бог?» Ему теперь пять лет, живет в чужой семье, возле Филадельфии. «Му томту, му томту» — шептал он в смертельной тоске, когда его увозили, с той прозорливостью, которая присуща исключительно детям (и напрасно взрослые их так легкомысленно утешают).

Жизнь Магды тогда казалась осмысленной: ребенка надо кормить, одевать, укладывать во время. Стирала, штопала, варила. Решила: и это обман. Другие сумеют сделать лучше! Дитя отдали: муж настаивал. Он был прав. Магда плохо влияла на мальчика, утверждал он. Странно, ребенок совсем не заметил перемены, происшедшей в наружности матери. Единственное существо в мире, самое близкое, восприняло ее трансформацию, как несущественную. Но с ним начались разные конвульсии, галлюцинации. Магда знала происхождение этих припадков: муж ее спал с другою женщиной, — делал вот так и вот этак. Ребенок не бревно, — чувствует. Даже она, в такие ночи, испытывала злую печаль и беззвучно рыдала на полу: обоих трясли нечистые страсти, порожденные отцом и супругом. А муж делал вид, что не понимает, смеялся, пригрозил ей сумасшедшим домом. «Разве аргумент безумие, — презрительно шептала Магда: — Пусть безумие, но ведь это не причина, а следствие». Муж ее не почернел, но, Боже, как изменился: не узнать. Разве такого она десять лет тому назад полюбила. Все линяет, цветы вянут, дети выбрасывают свои игрушки. У теленка белое мясо, а подрастет получается красное, — beef. «Гадина, гадина», — вспоминала вдруг Магда Сабину, чувствуя свои особенные права на Боба и уверенная, что он ее не прогонит. «Что у тебя, усатая, родится еще неизвестно. Обезьяна или кошка. А, может, ничего не родится, подожди, Бог все видит».

От остановки собвея Магда пугливо бежала несколько кварталов на восток, шарахаясь от редких прохожих, опасаясь почему-то здесь встретить Прайта.

Пробравшись на цыпочках в комнату Боба, она, не зажигая

света, подстилала себе старенькое пальто, ложилась на пол, укрывалась жестким одеялом, все дымя неизменной, безвкусною папиросой. Боб спал у Сабины и она почитала за долг мучать свою плоть, бодрствовать, плакать и молиться, — искупая его грех. В тайниках души, Магда произвела Кастэра в подобие мистического супруга и беременность т о й воспринимала с чувством гнева и отвращения. Мысль, что Сабина благополучно станет матерью, ей казалась недопустимой, равнозначущей смертному приговору. Истукленно молясь, она дала клятву умереть в тот же час, — если ребенок родится живым! Приняв решение, ей стало легче жить. Всегда мечтала о самоубийстве . . . теперь понятно, когда это надлежит сделать. Еще несколько месяцев сроку. Причину гибели Боба она видела в Сабине: кругом виновата. Да и теперь сбивает его с толку, разжигая похоть. Но ухаживала за нею добросовестно: могла бы подсыпать яду Сабине . . . Нет, разрешить спор: кто прав, кому наказание . . . она предоставляла Христу, уверенная в собственной непогрешимости.

Магда унесла украдкою шприц, забытый доктором Спартом. Лежа на полу, она доставала его и тыкала иглою, — в тело, в лицо, в уши. Улыбалась: до чего эта боль незначительна, по сравнению с душевною мукой. Застывала в полусне, полуобмороке. Муж, Боб, отец, сынишка, медленно вращались кругом нее, как по манежу, Суд, казнь, торжество. Дико вздыхая, молилась, бормотала нежные слова.

Там на полу, утром, ее иногда подбирал Боб. Придя в себя, успокоенная, она принималась смеяться, петь, шутить, делиться мыслями, догадками. Так, раз Магда сообщила: «У людей, что долго живут вместе, спят в одной постели, едят ту же пищу, читают те же книги, дышат одинаковым воздухом, образуется постепенно та же флора и фауна, — в кишках, в легких, в душе».

— Я не желаю иметь с тобою однородную флору и фауну! — яростно возмутился Кастэр. Ведь просто развязаться с нею. Но тогда она погибнет. Отречься от Сабины, от ребенка, от личного счастья, посвятить жизнь Магде: вдвух кислород,

дышать за нее. Не может и не должен. Значит: полумеры, ложь, жалость. — Я не намерен иметь одну флору и фауну с тобою! — повторял он сердито и обиженно.

А она в ответ улыбалась, лживо-кротко и свысока, точно внутренним взором разглядев уже место и время, когда это неизбежно случится.

36. Окно

Попрошавшись, — во второй или третий раз, — с Бобом и Сабиною, Прайт последним оставлял полюбившийся ему дом. Нажав кнопку лифта, он сразу, не дожидаясь, пускался, вприпрыжку, вниз по лестнице. Словно вспомнив про неотложное свидание, выбегал на крыльцо, суетливо спеша к автобусу (случалось, даже брал такси). Впрочем, иногда, он пересекал еще Авеню, чтобы за углом у ларька купить букетик цветов.

Жил Прайт на Вест 73-ей улице. Войдя в квартиру, он снимал пальто, пиджак, туфли и в одних носках проходил в темную уборную: из окна легко было разглядеть напротив, — ванную комнату соседей. Там, около полуночи, с регулярностью электрического робота, женщина занималась своим туалетом... Купалась, мыла волосы, делала педикюр, завивалась, стирала, голая, чулки и лифчики. Всю ее увидеть Прайту не удавалось: только поочередно, — торс, живот, ляжки. И хотя, за многие месяцы, он успел изучить подробно анатомию этих отдельных частей, но составить себе впечатление о целом — не сумел, даже приблизительный возраст — ускользал. Некоторые стати Прайту определенно нравились, другие — поменьше, например, лицо совсем не прельщало. И, вообще, он далек был от упоения. Но по вечерам, оставшись один, он с точностью маниака устремлялся к окну, считая долгом вежливости, что-ли, не пропустить этого дарового представления.

Минут двадцать, точно выполняя священную обязанность, Прайт, явно скучая, переминаясь с ноги на ногу, простаивал в ванной, терпеливо дожидаясь конца сеанса. Вот она готова, протягивает руку: свет погас. Вернется снова: забыла что-то. Исчезает опять: уже до завтра. По некоторым приметам он

догадывался: в квартире есть мужчина, но ни разу его не заметил — то ли он мылся на заре, то ли совсем не мылся.

Неудовлетворенно вздохнув, Прайт проходил в спальную; закулив трубку, с книгою укладывался в постель. Отставной критик теперь читал только детективные романы: классиков он знал, а современные писатели — продажные халтурщики.

Чета, жившая рядом с Прайтом, поселилась в Нью-Йорке недавно. Женщина родилась в штате Иллинойс, — ирландских и шотландских корней. Воспиталась в маленьком городке. В Америке сто тысяч таких собраний построек: среди пустыря, грустной, неопределенной степи, прокладывается дорога, вырастают здания, фабричные цистерны. Почтамт, банк, две церкви, drug stores, два кинематографа, бензин, гараж. Девушка, работавшая у нотариуса, могла бы сесть в кассу театра или преподавать в школе; пастор случайно не заведывал банком; директор банка отлично управлял бы универсальным, десятиэтажным магазином. Жена доктора могла бы быть матерью детей смотрителя музея "Art and business". Все заменимо в этом городе: люди, машины, здания. Банк не трудно поместить в школу, почту — в церковь, а церковь — в синема. В церкви поставили громкоговоритель и священник наставлял грешников при помощи грамофона; кинематограф обзавелся тяжелым, во всю стену, органом и подолгу, особенно в большие праздники, надрывал уши псевдо-религиозным гулом.

Эмили посещала high school, там познакомилась с Диком, — ее первым мужем. Вместе ходили в drug store — ice cream soda — танцевали, целовались. Ясно: влюблены. 18-ти лет вышла замуж. Весь склад жизни, — воспитание, детство, зрелость, — неуклонно толкал к одному: брак! Это последнее, окончательное решение половых и экономических затруднений. Так учила школа, церковь, полиция, литература, Холливуд. Эмили регулярно, дважды в неделю, смотрела новые фильмы. Любовь бескорыстна и священна, а брак нерасторжим. И хотя в газетах она читала про разводы, похабства и скандалы

кинематографических звезд, — да и в собственном окружении приходилось наткаться, — но связать вместе эти противоречивые явления ей не удавалось. «Если допустимо разводиться, изменять, снова жениться, — думала она, — то где же конец? Нет ничего больше верного, вечного, непоколебимого. Нет security! И жить нельзя и не стоит». Так многие купцы не обманывают и не воруют, чтобы не дать права другим их обмеривать и обвешивать: честность иногда диктуется эгоистическими соображениями.

На третий год замужества Дик ей начал изменять: его видели с разными женщинами. Эмили повадилась ходить в бар, где просиживала по четыре, пять часов у стойки. Возвращаясь домой, плакала, язвительно высмеивала Дика: какого типа бабы могут им прельститься! Этими припадками воспользовался Дик и добился развода, по причине *mental cruelty*. В *Bill of Complaint* так представлялась их жизнь...

...That the Plaintiff and the Defendant were lawfully united in the bonds of matrimony and that they lived together as husband and wife...

...That Plaintiff alleges that the Defendant was lazy and unkempt and kept their apartment in a dirty, unsanitary and filthy condition; that she would leave the dishes unwashed for several days at a time; that she would leave the garbage lying around for days at a time and that as a result the odor coming from their apartment was sickening; that the Defendant refused to send their linens to the laundry for cleaning until such time as they reeked with filth. That whenever Plaintiff would plead with her to keep the household in a more sanitary manner, she would become enraged, swear at him and call him indecent names in a loud voice; that on several occasions she threw dishes and books at him.

...That the Plaintiff's stomach and general physical condition became so impaired that he could not continue to live with the Defendant without becoming a total physical and mental wreck and he, therefore, separated from her as aforesaid.

Она иногда перечитывала этот документ: ее жизнь.

После Pearl Harbor Эмили поступила на завод в Индиане, там встретила Фреда. Обвенчались и устроились на завод в Нью-Йорке. Оба работали и жили в общем счастливо. Денег вдоволь, но война не вечно продлится, а там начнется депрессия. «Посмотрим, как это все обернется» — повторял Фред: он не был очень разговорчив. По вечерам заходили в соседний бар, там за стаканом пива или вина, беседуя со случайными знакомым, мило проводили время. Муж ей помогал в хозяйстве: мыл посуду, носил белье в прачешную. Изредка они ссорились, нехорошо, беспричинно.

В этот вечер они повздорили из-за party у Джо. Друг Фреда устраивал попойку у себя, в будущую субботу и пригласил их. Ей бы хотелось пойти, но Фред противился: «Это не место для приличной женщины, — уверял он. — На такие вечеринки являются, чтобы напиться или подобрать доступную девочку. Это не место для тебя». Эмили возразила: в ее возрасте уже не опасно посмотреть, как подбирают доступных девиц, да и вообще интересно знать как живут эти люди.

Но пока она мылась и приводила себя в порядок, настроение мужа успело чудесно измениться. Когда Эмили вернулась в спальную, чистая, свежая, в распахнутом халатике, он жалобно простонал: — ты идешь, honey... Вся кровь бросилась ей в лицо. Страдальчески кусая свои губы, она еще пробовала ерзать рядом с ним, безнадежно борясь с холодом и скукой.

Чувствуя некоторую вину и мечтая о покое, Фред сказал:

— Впрочем, honey, если ты настаиваешь, мы можем туда поехать в субботу.

37. Подземелье

Пятьдесят часов в неделю отбирала служба. И Боб почти радовался этому обстоятельству: не знал бы, чем заполнить досуг. Думать, искать выхода, добиваться признания или любви — гораздо утомительнее и не оплачивается хозяином. Он начинал постигать судьбу тех миллионов мучеников, которые без «работы» не могут жить, покрывая внутреннюю пустоту внешней сумятицей. Труд не убивает, от него даже крепнет

тело. На заводе, в конторе, главным образом чахнет душа. Человек грубеет, сдается, мечтает о тихих радостях: поспать бы до десяти, сходить в синема... горд вниманием бессмысленного начальства. Тело его требует побольше мяса и прочего, подобного мясу. В свободные часы, он с разбега уже продолжает спешить, стучать, энергично суетиться, что-то делать; набивает рот резиною и жует; если остановится — его разочвет. Выдержать длительное бездействие и не разложиться, продолжать крепнуть, расти, совершенствуясь, готовясь к ответственному заданию — вот испытание. Лишь преодолев соблазны одиночества и скуки, — сорок недель или сорок лет, — душа возвращается из пустыни в город, чтобы созидать: разумеется не рентабельные пуговицы или подтяжки.

Боб Кастэр незаметно втягивался в жизнь миллионов. Здоровая усталость, узаконенный отдых, семейный уют, банковский счет, возможная обеспеченность. Как хитро все устроено. Бедный и богатый, казалось, испытывают те же волнения. Сидят в одном театре, — только на разных местах. На мягких креслах или на твердых, близко к сцене, с пахучими женщинами, или подальше, с бабами подешевле, — но видят, слышат, переживают почти то же. Чувство обывателя, думающего о своем банковском счете, однородно, — все равно, привык ли он выписывать чек на сто или на тысячу! Так мотылек, прозябающий только одну ночь и муравей три года — проходят через ту же гамму ощущений.

Но Боб Кастэр не желает равняться на муравья. Он еще не уступил. О, нет. Почему жизнь не позволяет ему быть хорошим, полезным, стоять на своем месте, выполнять заданное, почему? Жизнь или люди? Кто кому мешает?..

Мрачный, темный, почти ни с кем не общаясь, Боб пережидал ненавистные, священные восемь часов и убирался прочь, — с полным сознанием зря, и даже с вредом для души, потраченного времени. Карьера его в лифте резко оборвалась и Кастэр теперь подвизался в собвее. Обязанности заключались в следующем: стоял нелепо зажатый между двумя вагонами и, когда поезд подкатывал к станции, нажимал рычаг справа, затем

слева... Двери «автоматически» раздвигались, давая пассажирам относительную возможность проскочить. Затем Боб снова тянул рычаги: правый, левый... и поезд перед носом опоздавших неудачников, дергался, мигнув лампами отходил.

Унизительная поза: сгорбившись, вывернув коленки, с ногами на разных вихляющих площадках, зажатый по бокам и сзади (чтобы не упал), просунув голову в щель меж двумя вагонами... Это страна предполагаемой высокой техники. Полное неуважение к человеку: его страхуют и кормят, — чего же больше! В Бруклине поезд выбегал наверх, в стужу, дождь, жару... Чтобы отдохнуть, позволялось между двумя станциями пройти в вагон и присесть на лавочке, если были свободные места. Для этого требовалось отворить и затворить (и снова отодвинуть и втиснуть), очень тяжелую дверь. А пробеги короткие: local.

Унылое подземелье с водою, просачивающейся по камням, древний инвентарь, серые, жующие люди, в пиджаках, шляпах и галстуках, все на один манер, духота, сквозные ветры, — злой сон, неправдоподобная сатира.

Боб Кастэр в прошлом чуждался социальных междоусобиц, классовых недоразумений, политических склок, но тут, в погребе, на положении раба, которому сознательно дают подешевле, похуже инструмент, советуя действовать часто даже во вред общественным интересам, его обурежала слепая ярость.

Эдмунд, непосредственное начальство, ирландец, сорок лет проторчавший под землей, не советовал проявлять инициативу и, Боже упаси, предлагать улучшения!

«Рутина, рутина, рутина, вот зачем вы здесь», — говорил он со смаком, подобно апостолу Павлу, повторявшему: «будьте святы»... По началу, Эдмунд выделил Кастэра, относился к нему приязненно, обещал при случае обучить маневрированию и перевести в машинисты: благодаря войне и мобилизации несколько цветных проскочило на эту привилегированную должность. Но скоро он остыл к Бобу и начал держать себя вызывающе.

Как-то, на всем ходу, пьяный пассажир, следуя из одного

вагона в другой, ненароком толкнул Боба в спину, да так резко, — еще минута и Кастэр очутился бы под колесами! Компания не желала раздувать этой истории, — и подоплека осталась невыясненной. Однако, Боб Кастэр, вспомнив разглагольствования Прайта о предполагаемом покушении, поспешил убраться, по добру, по здорову, из этого криминального туннеля.

Здоровье Сабины поправилось. Шел пятый месяц ее беременности. Радостная, полная тихих сил, она не могла усидеть на одном месте, целый день распевала, возилась по хозяйству, выдумывая себе занятие. Доктор Спарт решил: ей будет полезно месяц, два поработать. И Сабина, по утрам, начала снова посещать контору Макса, который очень ценил ее сотрудничество.

Боб Кастэр счел удобным воспользоваться этой благоприятною паузой и съездить в Вашингтон для серьезного объяснения.

38. Фантастический остров

Судьба играет человеком. Боб Кастэр не попал в Вашингтон. Накануне своего отъезда он получил *special delivery* от доктора с просьбою — немедленно пожаловать на прием! Причина нетерпения Поркина оказалась весьма основательною. Он давно уже собирался прибегнуть к помощи лучей радия, подвергнуть их действию участок кожи Боба. Но продукт этот дорогой и редкостный. Как раз теперь доктору удалось наладить соглашение с одним госпиталем, владеющим целым граммом драгоценного металла. Он советовал немедленно воспользоваться любезным предложением и слечь в больницу на две, три недели.

— Бумаги не убегут, главное здоровье, — простодушно убеждал Поркин. — Теперь у них свободная койка. Попадете в Вашингтон немного позже, кстати и японские вишни все зацветут.

Боб заколебался. Этот курс лечения все равно надлежало

испробовать и, разумеется, до хирургического вмешательства. Он согласился.

Так, в средних числах мая, Боб Кастэр очутился (собвей, автобус, паром), — в одной из клиник острова, обозначенного на картах зеленым пятном, поверх голубой ленты воды.

«Наш остров, — узенькая полоска земли, — тянется на тридцать, сорок кварталов; аборигены все хронические больные, разных местных госпиталей. Число жителей скажем 7000, кроме сестер милосердия, докторов и других работников: администрации, транспорта, кухни, складов», — писал Боб Сабине, в первый же вечер своего водворения на новое место жительства. И дальше: «Остров этот самый живописный уголок Соединенных Штатов. Единственное селение, которое может тягаться с прославленными кварталами Парижа, Лондона или Рима. К сожалению, мои и твои соотечественники не имеют чувства юмора: гордятся оперой, музеем, церквями, — дурные копии с европейских чудес, — а между тем, вышеуказанный остров явление вполне самобытное, оригинальное и нуждающееся в истолковании. Ты видела когда нибудь американский госпиталь в кинематографе? Ну вот: это не наш госпиталь. Наши учреждения не для показа. И этим они интересны для туристов и исследователей».

На острове еще в начале двадцатого века была тюрьма; потом тюрьму упразднили (только в одном корпусе продолжают отбывать наказание арестанты); воздвигли два вспомогательных, современных здания и навезли больных тысячами, в частности безнадежных: туберкулез, табес, рак, бездомные, нищие старцы, паралитики. Персонал, когда то служивший при тюрьме, удержался на новом положении; сохранились и некоторые давние нравы, повадки: атмосфера караулов, пропусков, сыска, — попасть туда или выйти не просто.

Павильон, где лежал Боб Кастэр, — древний, каменный, двухэтажный флигель. Имелись редкие окна, забранные решетками, но свет не проникал. Впрочем, свет и не нужен: по тридцать два больных в каждой из восьми палат, — и все обреченные смертники... Уже после бесчисленных даровых

операций, анализов, просвечиваний. Они ждали конца, — и морфий их единственная отрада.

Из распахнутых дверей, в солнечное утро, Боб разглядел зеленую лужайку, обрамленную чистеньким забором, а там несколько нарядных, пестрых, одноэтажных построек. Котэджи эти, услужливо сообщил Бобу Кастэру старожил, предназначались для выздоравливающих туберкулезных: пожертвовали огромную сумму. Но исцеленных не оказалось, либо они предпочитали поправляться в других местах. Тогда филантропы решили свозить туда девиц, сифилитичек, прошедших курс лечения, — на отдых, две, три недели. Но и девицы не пожелали. Скучно, да и неловко: как на ладони, — всем видно. К тому же, многие из мужчин, работников, повадились залезать по ночам в уютные дортуары: это уже совсем противоречило первоначальному замыслу благодетелей. Девиц увезли, двери заколотили: и стоят модные домишки на лужайке, чистенькие и молчаливые. А в палате у Боба затхло, темно, тесно, обрубки тел, опухоли, органы, мучительно цепляются за жизнь.

Бобу Кастэру морфия не вспрыскивали. Раза два, три в неделю он шел в соседнее здание, к машине. Несколько минут насвечивания, а потом часы, часы томления и скуки (а самое непостижимое, — ночь!).

«Надо потерпеть, максимум месяц», — успокаивал себя. Сабина и друзья его еще не успели навестить, даже писем не получал. Был там, среди докторов, один венгерец, дравшийся за республику в Испании: очкастый, сутулый и злой. С ним Кастэр болтал по испански: сухо перечисляли названия рек и селений, запечатлевшихся в памяти. Однажды доктор неожиданно признался:

— Вы знаете, я не совсем понимаю ваше положение.

— То-есть? Вы разумеете мою болезнь?

— Нет, не болезнь, а вообще... Зачем вас здесь держат?

— Я получаю радий, — объяснил Боб.

— Вы не получаете радия, — возразил очкастый. — Мы это называем *placibo treatment*. Обреченных пациентов, чтобы

поддержать их морально, мы усаживаем перед аппаратом и зажигаем простую лампу: не отказываемся лечить, значит, есть еще надежда. Психология. Вы тоже получаете placebo. Но зачем, вот тайна.

— Спасибо, доктор, спасибо, товарищ! — догадался Боб: Поркин, трусливая тварь, его тоже предал, как раньше Прайт и еще многие.

Надо убраться отсюда поскорее; но уйти будет, вероятно, не легко. Начальство, в лице вразумительного и мрачного джентльмена, сообщило Бобу, что госпиталь не тюрьма, больной может, разумеется, получить discharge; однако, родные в таком случае должны взять на себя формальное обязательство опекать Роберта Кастэра. Социальный отдел проверит их способность заботиться о больном, удовлетворить его насущнейшие потребности. Тогда он свободен: закон, порядок.

Боб с радостью согласился. Отправил телеграммы Сабине и Спарту, многократно звонил. Но бесплодно. Ни ответа, ни отклика. Девушка, social worker, сухая, старая чиновница, приставала к нему с ворохом анкет, — помесь святой, Фрейда и Шерлока Холмса. И Кастэр понял: он в западне. Уходить надо по собственному почину. Начал оглядываться, примериваться, ища лазейку: как бежать, передать записку на волю, раздобыть одежду, деньги...

Пробраться на мост? Переплыть через реку: двести пятьдесят метров, сильное течение, и в какую сторону, — на восток или на запад? От любой случайности зависит успех: дважды ему не дадут бежать. Соорудить плот? Соседом Боба по койке был Джэк: ужасающая опухоль на все лицо, — перерождение тканей. Казалось, голову его сунули в торбу из кожи и мяса, — мешок свисал до груди. Джэк не укладывался в привычные рамки: добрый он или злой, умный или глупый, блондин, брюнет, старый, человек или сумчатое животное, — не разберешь. Отвратительное, жалкое существо с предполагаемой бессмертной душой. Это он повадился нагло выслеживать Кастэра, — днем и ночью, — впрочем, даже иногда оказывая мелкие услуги: считался он в палате чем-то вроде старосты. При вся-

ком удобном случае повторял: «Когда больной кончает самоубийством или убегает, ответственна сестра. Я здесь двадцать лет и никому не позволю обидеть нашу сестру», — такие замечания, в перемежку с кваканием, блеянием, ронял он в сторону Боба. У Джэка прорезался только один глаз и когда он, слегка отпояливая сумку кожи, поглядывал на Боба этим нечеловеческим оком, — мороз продираал по коже. «Хочешь, я тебя поцелую», — и смеялся, ржал. При еде, он рукою запихивал пищу куда то глубоко в полость рта. «Когданибудь я тебя укушу вот этим самым ртом, их-хи».

Эта скотина обрела смысл жизни: впервые! Господа, поручившие Джэку сторожить Кастэра, очевидно, нуждаются в нем: лестно ведь. «У него появился стимул, теперь он счастлив и будет верным холопом, цепным псом, — решил Боб: — внимание, внимание».

Собственно, это помогло Бобу Кастэру, вдохнуло в него жажды победы, мести, злость, наконец! «Нет, гады, вы несомненно плохо меня знаете. Под Гуаделахарой я первый прыгнул с железнодорожного моста вниз на автомобильную дорогу и не разбился. Подождите, рано еще меня хоронить».

39. Западня

В палатах все еще соблюдалось отдаленное подобие жизни, с чинной сменой забот дня и ночи: сон, еда, уборка, обход врачей, отдых и прочее... Здоровые установили этот естественный порядок и больные, не рассуждая, подчинялись. Полумертвых заставляли принимать участие в условной игре и те не имели охоты и разума сопротивляться. На темных стенах висели плакаты военного времени. На одном, тонущий матрос, высунув руку из воды, гневно жаловался: «кто то проболтался»... Второй уверял: «И у стен имеются уши»... Buy War Bonds... Вид этих плакатов вызывал у Боба Кастэра неудержимый смех. В обстановке госпиталя весь ход войны казался детской забавою, по сравнению с удачно опорожняющимся желудком. Во мраке, в одиночестве, повернувшись спиною к самому себе, человек умирал и это было серьезно.

По утрам, кроме очкастого доктора, являлись еще другие, поважнее. К одиннадцати часам приносили завтрак. Пациенты, в жару, в поту, в блевотине, пихали себе куски в рот, в пищевод, иногда прямо в желудок, через резиновую трубочку у пупка, стараясь через силу зарядиться, — протянуть подольше. Напившись кофе, Боб поспешно выбегал наружу, если погода позволяла. Там, у захарканной травки, на лавочках сидели старцы из дома призрения: мудрые паралитики, выгнутые дугой в разные стороны, с язвами и маниакальными ужимками. Они курили, поплевывали, старушки ссорились, — все изнывали от скуки. Когда, издалека, мелькали белые штанины врача, кто мог подниматься, полз, ковылял навстречу, чтобы успеть крикнуть: Hello, doc... все таки развлечение.

Боб Кастэр медленно брел по тропинке; иногда к нему присоединялся очкастый. Шли у самой кромки набережной: внизу вода неслась мутная и бурная, причем не на юг, к морю, а на север! Военные корабли медленно плыли мимо, маленькие, коренастые буксиры тянули баржи-платформы, груженные теплушками. А на западном берегу высился, подобно отелю, модный госпиталь, где, следует полагать, все, — кроме боли и смерти, — образцово и добропорядочно.

— Почему вы не поступите туда? — спросил однажды Кастэр. — Ведь вам тоже противно здесь околачиваться.

— Там евреев не принимают, — объяснил очкастый.

— Впрочем, здесь у вас большое поле для научных экспериментов, — вежливо утешил его Боб.

— Научных экспериментов? — удивился тот. — Здесь доктор нужен только, чтобы засвидетельствовать смерть. Закон: to pronounce him dead... Когда меня зовут ночью к больному, я не думаю, как бороться за его жизнь: дать ли кислород, впрыснуть адреналин, сделать переливание крови... Нет, он уже скончался и я должен официально признать его мертвым. Вы знаете, — оживился очкастый. — Когда Микель-Анджело расписал храм картиною Страшного Суда, то папа нашел соблазнительным это обилие голых тел и поручил другому художнику, вполне благонадежному, надеть штаны на

всех интегральных нюдистов. Художник работал несколько лет и благополучно прикрыл их срам. Его прозвали «панталонщиком»; и когда он показывался на улице, мальчишки кричали: «Панталонщик идет, панталонщик»... Вот таким я себя чувствую, когда размеренно шагаю по острову из staff house к госпиталю. Я не доктор. Я Pronouncer of death, Pronouncer of death.

По вечерам на том берегу зажигались фонари, вдоль набережной бешено мчались автомобили, гуляли влюбленные парочки. «Там город, там город», — шептал Боб Кастэр, прильнув к дверному оконцу. Вспоминал Сабину, молодость, другой шум и огни... Хотелось немедленно прыгнуть, врезаться с обнаженной саблей в гущу жизни, погибнуть смертью храбрых или победить. Выполнить по совести не только свой долг, но и всех этих нищих, слабых, калек, обездоленных, сдавшихся, а теперь умирающих, бесславно, неудачников.

Боб Кастэр украдкой пробирался на террасу; в тысячный раз соображал: в каком месте благоразумнее нажать, ударить, прорвать окружение. Но в темноте за ним безмолвно следовал сторожевой пес, хитрый и назойливый Джэк.

Очкастый доктор отказался передать письмо Сабине. С растерянной улыбкою, не объясняя причин, уклонился.

40. PRONOUNCER OF DEATH

Ночь воцарялась в госпитале рано. Тухли огни, замирала жизнь. Изредка вздох, крик одурманенного больного; холодно блестящие, пригвожденные глаза в темноте. Сестра, негритянка, толстая, лоснящаяся, будто морж, дремала у столика с тусклой, замаскированной лампочкой. Запах. Падали, кала, агонии. И вдруг из мрака, фигура призрака, танцующего почти на четверенках, — это полумертвому вздумалось пробраться в уборную... Движения его подобны пляске дервиша.

Вот сестра склоняется над больным: смотрит, шупает. Нерешительно отходит. Через пол-часа возвращается, снова внимательно изучает его, потом расставляет кругом койки

полотнища ширм. Скоро телефонный звонок раздается там, где комнаты докторов. Хромой, уродливый детина, из бывших арестантов, проковыляет по коридору и громко застучит в дверь к очкастому. Пока очкастый выходит из комнаты к телефону, хромой успел уже скрыться за поворотом длинного, узкого корридора, — и неизвестно, стучал ли действительно кто-то видимый, трехмерный или это почудилось доктору.

Ночная сестра сообщает: смерть в А-2.

— Хорошо, — угрожающе отзывается очкастый. — Хорошо.

Возвращается к себе. Надо одеваться. Как хочется спать, закрыть глаза, раствориться. Его вырвали из самого центра сладчайшего забвения! Улыбается: если бы не разбудили, никогда бы не узнал этого. Пленительность сна проявляется только на границе, — когда тормозят и мучают. «В сладости сна есть что то похотливое: сладострастное стремление к небытию, — думает очкастый. — Так покойников придется поднимать к вечной жизни из объятий упоительного покоя и они будут греховно сопротивляться».

Он ложится в постель еще минут на пять, десять, как ему мнится, но шаги хромого, — снова за дверьми и наглый стук. Его жизнь принадлежит смерти, она ждет и заигрывает.

Одевается и выходит. Тюрьма, вселенная, остров. Он и смерть. Гулко раздаются шаги. Pronouncer of death.

Тень госпиталя, мрачные коридоры, темные лестницы, тишина, пустынный лифт, окна в ночь. Завидев очкастого, сестра, — от нее пахнет моргом, — говорит:

— Сюда, сюда, — она боится ответственности, пусть доктор проверит.

Очкастый не желает больше смотреть на трупы: точных границ нет, все условно. Лучше сразу подписать карточку: Patient pronounced dead at 3.15 A. M... Чтобы успокоить негритянку, подбегает к усопшему. Накануне он видел его, еще брал за руку, щупал пульс: слабое, страдающее существо. И вот теперь это плотный предмет, — подобно дереву, кости, камню. Смерть укреплает тело. В жизни мучается, немощно

тело (а в смерти, быть может, начинаются испытания для духа, великие странствования). Плоть в смерти обретает неуязвимость, свое вечное бытие. Смерть только форма жизни.

Очкастый обходит и другие палаты: будут еще звонки, через час или два. А «подписать» их теперь запрещено... Этот, вероятно, — под утро! А сосед его еще протянет сутки. Оба без сознания. Но в то время как первый дышет напористо, рьяно, с переливом, второй тихонько, незаметно, — на самой границе колебания маятника. И это его спасает. Так, из сосуда вода уходит быстрее, если уровень жидкости выше.

Не хватает кислорода в крови и человек задыхается. А если дать ему много кислорода, он тоже перестанет дышать, за ненадобностью: арпеа, — некий кислородный рай. Вечность и противоположность, — небытие, — схожи. В обоих случаях не будут дышать: в одном не могут, а в другом не нуждаются в этом.

На своей койке сидит негр, Боб Кастэр. Очкастый опасливо кивает ему головою: отчаянный, еще пырнет ножом.

«Нет, братец, мою карточку ты не подпишешь», — по волчьим скалит Боб зубы.

Доктор проходит в другую палату. Мрак, вздохи, запах, запах и неподвижные тела: беженцы с чемоданами на вокзале после бомбардировки...

Из ночи глядят их пасмурные лица: словно обуглившиеся. Вот в одном углу или в другом, на подушке, неожиданно светлый лик, почти лучеиспускание, нимб, — есть и такое, но редко, ох как редко. Чистые, свои краски они заработали раньше, в миру, или просто получили их по благодати. Очкастый готов поверить: «темные уходят в ночь, в минерал; тогда как этот светлый, кроткий на подушке, — для него смерть скачек из одной жизни в другую».

Вот женщина, тяжело, мучительно тужится, чтобы родить свою смерть: грузно упирается в подушки. Очкастый берет ее руку: липкий, густой, холодный пот... Что-то общее с роженицей. Такой же вязкий, пристающий пот, только другой температуры, и страдальческая растерянность. «Там тело ро-

жает новую душу, здесь душа убивает тело». Доктор смотрит ей в глаза: она злобно, умоляюще и беззащитно настораживается. Молодая. Обречена. Рак. Случайно у нее, а не у очкастого. Он здоров, — вот рядом с нею, все ему принадлежит и даром, незаслуженно! Какая несправедливость, бешеное везение. Надо бежать, спешить, делать что-то, пользоваться этим. Но он вернется к себе, ляжет в постель, утром нудная работа, снова сон, еда; в дни отдыха — кинематограф, знакомые... И бессмысленный ужас ее смерти помножался на ужасную бессмыслицу его жизни.

Очкастый изнеможенно присаживается за столик сестры. Перед ним под стеклом, отпечатанные инструкции, — на случай смерти пациента. Закурив папиросу, рассеянно пробегает взглядом знакомые параграфы...

"2. Return to the bedside, lower the gatch, place the patient in a recumbent position, straighten the limbs, place a pillow under the head, and see that the eyes and mouth are closed."

"5. Assemble any property which the patient may have in the bedside unit, e. g., rings or any religious articles. Label these and put them in a safe place until they can be removed to the Property Office."

"8. If the eyes did not remain closed, pull out the lower eyelid so as to make a pocket, place a few shreds of cotton or a small piece of thin paper in this pocket and bring the upper lid down over it."

"14. Bath the face, neck and ears, and comb the hair. Pack the rectum with non-absorbent cotton."

"18. Cross the hands over the chest and tie them together..."

Очкастый грузно спускается по лестнице, бредет по гулкому темному корридору, где рентгэн, машины, глухо запертые конторы. Кто то мелькнул за углом, крадется, а может почудилось. В такие часы начинаешь верить в любой вздор: смерть костлявыми пальцами вцепится в глотку. Впрочем, подстерегают и другие опасности... Года два тому назад здесь служил санитаром бородатый мужчина с тихою улыбкой (до того, сидевший в Bellevue в отделении для душевных больных); как то ночью, он прыгнул сзади на дежурного врача и полоснул его бритвою.

В пустые окна скребется ветер, царапает тонкие переборки. Смерть играет с очкастым в прятки. Когда доктор в палате, она выбегает наружу (а только он уляжется, опять звонок: смерть в Д-2).

Мерно и веско звучат шаги по камням. Pronouncer of death. Небо, облака, звезды; крыса перебежала дорогу: прокралась к воде (вчера искушали паралитика) . . . Мимо морга: здесь стоит машина и по ночному хрипло и тихо беседуют рабочие. Вот Occupational Department. Там старцы могут учиться ремеслам и развлекаться. Дальше, огромный стеклянный ангар: здесь по вторникам и пятницам показывают большим фильмы.

Всё «ракет». Честная душа сидит десять лет в своей комнате, изобретает радио, витамины, группы крови, сыворотку. А потом это превращается в «ракет». Маленькую истину раздувают в гигантскую ложь. Зарабатывают деньги. Рекламируют. Статистика, аппендициты и амигдалы, психоанализ. Жулики с благоухающими лысынами. Но все умрут. И «ракетиры» и их жены и дети и даже враги «ракета». А в палате С-1 на тридцать старушек семь девственниц.

41. Чайки

Все увеличивая радиус своих прогулок, Боб Кастэр незаметно изучил остров во всех направлениях: профиль берегов, топографию, особенности реки и течения. С юга видна кромка почти открытого моря. Чайки, чайки кружили над камнями. Кто первый изобразил чаек белыми, поэтическими птицами? Вообще, сколько лжи и условных штампов в нашей культуре. Курицы будто бы не решаются перешагнуть через нарисованный круг, страусы зарывают голову в песок или прячут ее под крыло, голуби нежно воркуют . . . Чайки, жадные, хищные, трусливые птицы, серо-грязного цвета, издающие отвратительный, горловой звук.

Остров тянется к северу, расширяясь к центру и сужаясь на полюсах; мост, соединяющий оба берега канала, упирался в остров несколькими каменными башнями. Взобраться по

такому столбу на уровень десятиэтажного здания, по меньшей мере, рискованно.

Спасаться вплавь... Но в какую сторону? Хотелось бы на запад, поближе к дому; а там берег крутой, высокий, забран цементом и железом, — течение бурное, — не всюду вылезешь! Восточный берег отлогий; у самой воды расположены площадки заводов: склады, бараки, уголь, бочки. В темноте полыхало пламя печи, грохотали краны... Ночью проскользнуть не трудно. Но затем надо, как-то, пробираться через сеть недружелюбных кварталов: в мокром больничном халате, без единого цента. А на той стороне он бы сразу вынырнул у знакомых ему мест...

Итак, путь — на запад. В полночь выскользнуть из палаты, пробежать к воде... прыгнуть. Это выполнимо (не наткнуться бы на баржу, на буксир). Если ктонибудь его задержит в последнюю минуту: вот камень, камнем по голове и конец. Жаль: нельзя ударить по китам, затеявшим эту травлю. Поневоле воюешь с воробьями и плотвою, а экземпляры покрупнее при всех обстоятельствах уцелеют. Впрочем, Боб Кастэр надеется когданибудь побеседовать и с ними. Видит Господь: в Кремле, Ватикане или Белом Доме, — все равно! «Но что, если они и тут и там и во мне и в других местах? Что, если вся утвердившаяся жизнь против живого человека? — с ужасом спрашивал себя Боб: — Без замысла и расчета, а спонтанейшая, мировая, враждебная небрежность... Но чем больше трудностей, тем больше нужды их преодолевать. В этом диалектика творчества и преображения жизни, — озорно решал Кастэр: — «Нет, мы еще повоюем».

Вообще, с той поры, как борьба перешла в материальный план, — явные враги, стены, стража, — злое, торжествующее веселие воцарилось в его душе. Чувствовал прилив новых сил и дьявольскую решимость.

В этом настроении Боб однажды наградил увесистой оплеухой некто подвернувшегося Джэка.

— Что вы делаете, вы играете им на руку, — укорял его потом очкастый доктор. — Назначена психиатрическая кон-

сультация. Придет лысый рамолик, ученик Шарко и будет вам задавать идиотские вопросы: число, день, год, имя, фамилия, возраст . . . Уколет булавкою и осведомится: острый конец или тупой? . . . Затем пробирки с водою: холодно, горячо? Вы ответите: тепло! Вы наверное попадетесь, смолкнете, удивляясь его глупости. Этого они добиваются: вас отправят на испытание в сумасшедший дом.

Они гуляли по набережной. Очкастый с отвращением ткнул рукою в сторону маленького парома, криво пересекающего канал:

— Посмотрите на этот паром и вы многое поймете. В зимние туманы он не может найти берега, машина слаба, не выгребает; его уносит к чорту на рога. А вот напротив модные здания, с джентльменами на хорошем жаловании. Но и там рутина, рутина, рутина. Ломать, так все ломать. Строить, так все строить. Нет места для частного случая. Сидите и не двигайтесь, ждите приказа. Пенициллин? Всем давать пенициллин! Витамины, — всем витамины! Рентген, психоанализ, Эйнштейн, Тосканини, ура! И писать, писать: отчетность. Если больной умрет, а chart его, — огромная, увесистая тетрадь, — в порядке: вы covered. Но если пациент выздоровеет, а chart не полная, это катастрофа, с точки зрения суда и страховых обществ. Милостивые государи, — воодушевился очкастый. — Известно ли вам, когда вы будете covered на все 100% и притом землею?

— Да. И по моим наблюдениям: медлительность, рутина и боязнь личной ответственности, — задумчиво согласился Боб. — Но чем вы однако объясните нашу успешность в войне: мы снабжаем пол-мира и спускаем чуть ли не ежедневно по большому кораблю?

— Это я называю чудом. Злое, соблазнительное и страшное чудо безличного производства, — охотно отозвался очкастый: — Чудесно, как процветает материальная цивилизация, если исключить элемент личности. Египетские пирамиды, римские акведуки. Понятие бессмертной, неповторимой, незаменимой к а ж д о й человеческой личности — необходимое

условие, климат, великой культуры; но оно мешает строительству дамб и конвейеров. Личность умирает и вместе с нею культура: мы входим в цивилизацию Великого Муравейника. Советский коллектив, американский team work и бюрократия. Говорят, что после этой войны уцелеют только две великие державы и конфликт между ними неизбежен. Я не вижу почему: они очень схожи и одинаково тяготеют к муравейнику. В Нью-Йорке никто не знает разницы между понятием личности и индивидуальности.

— Понятие личности и христианства связаны, — отзывался Боб Кастэр. — Я бы сказал так: в каждой великой культуре, даже древнейшей, есть элементы живого Христа, тогда как цивилизация неумолимо языческого происхождения. Цивилизация это внешний процесс усложнения во имя комфорта. Представьте себе двух человек, тянущих за разные концы канат: есть такая детская игра. Потом их четыре, восемь, двадцать, миллион, с каждой стороны. Скоро уже нет места для желающих вцепиться в канат, а приложиться необходимо, иначе не проживешь. Изнемогая, тащат, толкаются, извиваясь: где тут думать о личности! Положение становится все более и более неустойчивым, как в металле со сложной атомной конструкцией... Наконец все летит к черту, распадается: катастрофа. Только тогда освобожденная личность оживает и вместе с нею возможность великой культуры. Вот наше позорное прошлое. А задача в том, чтобы сочетать существование личности со сложной цивилизацией. Личность готова к этому, она изнутри возвращается к обществу: только с целым живет. Индивидуум отрезывает себя от мира, исключает себя, и потому он мал, ограничен, как бы ни была велика данная индивидуальность. Индивидуальность центростремительна, а личность центробежна. Парадокс личности в том, что она сливается с миром. Можно сказать, что в основе цивилизации лежит индивидуум, а в основе культуры личность. Я думаю, что уровень и ценность данной культуры измеряется правом и возможностью личности жить и служить, не искажая своего образа: свобода от внешних указок, в том числе и биологических.

Если негр утверждает, по совести, что он белый, старуха, что она молода, а юноша, что он поэт, им должны верить.

Так они беседовали, как два беглеца с окраин империи в римских катакомбах. А в среду пришел лысый ученик Шарко. На его вопросы нельзя было отвечать без улыбки, а он вопил и требовал кратких, точных определений. Вода в пробирках, пока за них принялись, была одинаковой температуры. Булавку тот совал не равномерно: иногда тупой конец колол, а острый не задевал. И опять Шарко обиженно кричал.

— Вас назначили к переводу в психиатрическое отделение, — сообщил Бобу Кастэру очкастый: — Для систематического наблюдения. Я могу оттянуть денька на два, а там «викэнд», скажем до будущего понедельника, это все, что я могу сделать.

— Спасибо, — равнодушно поблагодарил Кастэр: «сегодня ночью бегу», — прозвучало.

А во время дневной прогулки, молодая сестра, красавица мулатка с Ямайки, сверкнув очами, сунула ему промасленную записку. Первое впечатление: влюбилась, назначает ему свидание. Всего две строки: Сегодня в «Аляске», займите стул в 3-м ряду, крайний слева.

Сердце благодарно сжалось. Кто-то близкий, родной, Сабина... А почерк незнакомый, мужской.

42. Аляска

Ангар, где по вторникам и пятницам развлекали больных, почему-то назывался Аляской. Представление обычно начиналось в 6 часов вечера. Но уже с пяти часов к длинному, куполообразному, крытому стеклом, зданию, тянулись, со всех концов, хромые, горбатые, слепые, изуродованные, так в канун престольного праздника бредут, издалека, униженные и страждущие, — в Лавру, приложиться к мощам, испить святой водицы.

Ехали на креслах-самокатках, на велосипедиках, приводимых в движение ручной педалью, собирались стайками, по принципу взаимной пользы, обмена услугами. Выбирали место

поудобнее, устраивали свои возки, окликали друг друга, лениво шумели; уgomонившись, поздоровавшись со случайными или желанными соседями, стихали, курили, сплевывали, кашляли. Старушки сплетничали, грызли орехи, леденцы... Вообще вели себя как зрители в любом театре на Бродвее. Смеялись шуткам любимых комиков, сочувствовали влюбленному герою; а когда на экране дива надевала чулки или халатик, — вынырнув из пенистой ванны, — вскрикивали, улюлюкали, свистали. (Ночью в палатах темно. Подрублены корни. Куда убежать, где спасение)...

Боб Кастэр один из первых занял место: третий ряд, слева, — как надлежало по записке. Присматривался к тускло-живописной толпе: жалкие, бьются, верещат, словно мухи попавшие на клейкую бумагу. «Люди читают в газетах о зверствах и казнях, ужасаются. Но ведь мы все тоже обреченные заложники, дожидаясь очереди у крематория. И чем ближе конец, тем слабеет человек и ему труднее пролезть в дверцы».

Бобу недавно вырывали зуб: было похоже на казнь. А первый зуб ему удалили в Париже, без укола... и молодой, веселый, он тотчас же поехал в Сорбонну, на практические занятия. «Юноша может легко и без страха умереть. Но какая несурaziца: идти на эту мучительную операцию, дряхлым, слабым. Отправиться в опаснейшее путешествие на полюс в самое неподходящее время года».

Напрасно Кастэр озирается, ищет, ждет сигнала, знакомого лица. Кругом шепчутся, беснуются уроды. Все тягостнее, все мучительнее неизвестность: с ним сыграли злую шутку, высмеяли, где Джэк...

В шесть часов грянула музыка: классическая. Накормив публику отрывком из Бетховена, заведующий зрелищами энергично промчался несколько раз взад и вперед по залу, выключая свет. Лицо у него было зверское: гангстер раннего периода Холливуда. ("It's a good racket", — одобрительно прошептали сзади Боба).

Фильм оказался из жизни ирландской семьи в Америке. В госпитале большинство сестер ирландки, католические свя-

щенники ирландцы, шоферы автобусов, пожарная команда . . . (В Нью-Йорке нет осознанных классов; имеются касты, цехи, по расовому признаку, с жесткой иерархией: от париев-негров медленно поднимаясь до хозяев англо-саксов). Все они порядком надоели Бобу и он без особой симпатии следил за перипетиями любовной драмы. Сзади, опять кто-то шопотом заявил, что на постановку этого фильма истратили два миллиона. Цифра утешила Кастэра: только, чтобы спасти дрянь, нужно вложить такой капитал; хорошие вещи: воздух, виноград . . . даются дешевле. Не сразу почувствовал, как его осторожно дергают за локоть: в кресле-самокатке, укутанный шалью старик. Нежно и благодарно рванулось сердце Боба.

— Смотрите вперед, на экран, — приказал доктор Спарт. — В субботу или воскресенье, зависит от погоды, ровно в полночь ждите сигнала с лодки: электрический фонарик. Два длинных, затем три коротких: 23. Я причаляю у католической церкви: ясно?

Боб кивнул головою.

— Вот сверток: макинтош, туфли и деньги. Под стелькой найдете пилочку, на всякий случай. Мы им наставим длинный нос.

Ему хотелось еще поговорить с близким человеком, узнать новости. Сабина . . . Но Спарт боялся:

— В порядке, в порядке. Сабина нас будет ждать в баре на 2-м Авеню, — и откатил кресло.

Немного погода, пробираясь к выходу, Боб заметил Джэка: откинув рукою грыжу с лица, он пристально глядел на экран своим удивленным, лошадиным оком.

— Погодите, будет еще Walt Disney, — любезно осклабился Джэк.

— Н-нет.

— У вас не будет папироски? — спросил он, догоняя Боба.

— Нет. Или, вернее, есть, но не дам. Скажи, ты очень сильный? — Боб внимательно ощупал его коренастые, чудовищные плечи.

— А что? — ухмыльнулся Джэк. — Это ваш пакет?

— Я очень сильный, когда обозлюсь, такое совпадение, — и зашагал прочь, весело насвистывая.

43. Бегство

Последующие дни протекали без осложнений. Внешне Боб, казалось, примирился со своей судьбою: всем было известно, — назначен к переводу в госпиталь Bellevue. Исподтишка за ним посматривали: со страхом и жалостью, а кое кто из умирающих и завистливо.

Много спал, раскладывал пасьянсы, иногда помогал сестрам разносить завтрак, обед. Место, где, предполагалось, пристанет лодка, Боб Кастэр изучил досконально: почти руками обмерил, общупал подступы. Церковь можно обогнуть справа и слева; перепиливать стены или решетки нет надобности. Одна забота: Джэк. О нем Боб решил временно забыть. Эта дикая скотина все равно не поддается учету.

В субботу, под вечер, чтобы отвлечь подозрение, Боб сразу завалился спать. И, действительно, Джэк, посидев рядом, приняхиваясь и почесываясь, успокоенный отлучился: он изредка ходил к соседям играть в грошевый покер. (Смесь Тулуз-Лотрека и Гойя: карлики, злокачественные опухоли, язвы, — возбужденные, за картами).

Душно, белье липнет к телу, кружится голова. После одиннадцати Боб прокрался в коридор на второй этаж, жадно прилип к грязному окну: казалось стекло нарочно и старательно замарали, такой толстый и густой слой липкой пыли был на нем.

Видимость плохая, туман, возможен дождь. Сзади страшный, нелепый и чем то заслуженный ад, а впереди столб пламени, накал ламп, — неопределенное зарево города. Вот он, Кастэр, на подобие графа Монте-Кристо, узник несправедливо осужденный и мечтающий о свободе, мести.

Полночь. И еще четверть часа; 12 с половиною, а сигнала нет. Боб утешает себя: ничего, вот если завтра фонарика не

будет, это беда. Впрочем, тогда он попытает счастье на собственный страх и риск: благо деньги есть.

Тихохонько проскользнул к своей койке, — на ощупь. Джэка рядом еще не было.

Воскресенье выдалось жаркое, но с ветерком, ясное. Дух в госпитале царил праздничный, весенний. Сестры сходили к ранней обедне, помыли больных. Люди стали чище и мягче (кроме тех, на очереди, — одурманенных болью и морфием). Боб понял вдруг, что у каждого у них за плечами длинная жизнь с удачами и потерями: жена, дети, ремесло, болезни, выкидыши, внуки . . . Как у Рокфеллера, у микадо, у малайского рикши.

Джэк пытался даже острить, забавляя молодых сестер: смех его, густой, звучал прямо из кишек. Завтрак был лучше: даже полумертвые пихали себе в рот или трубки сладкое желэ. И все таки, томительно медленно тянулся этот день.

К вечеру погода опять переменялась и ночью заморосил редкий, парной дождик. Боб избрал новую тактику . . . Долго путал по коридорам и лестницам, изводя Джэка: тот мечтал о покое и сне, после предыдущей гулянки. В десять они улеглись и сразу стихли: любопытно, Джэк никогда не храпел.

И опять Боб всматривался в ночь над рекою; он стоит со свертком подмышкою, на открытой террасе, у самой лестницы, готовый по первому знаку ринуться вниз. Но, когда запульсировал огонек: два тире, затем три точки . . . Кастэр замер от неожиданности, застигнутый врасплох.

Через минуту уже мчался огромными скачками к условленной площадке. У самой воды, над обрывом, застыл, вперив лицо в даль: туман, завеса, где-то идет буксир и его грубое дыхание колотится о берег.

Вот, показалось, слабый огонек, шагах в пятидесяти от земли и скрип, словно, уключин. Боб достал спички и под халатом, изловчившись, хотел было зажечь одну. В это время на него что-то сзади навалилось, теплое, обхватило тисками и начало давить. Боб метнулся в сторону и, оступившись, шлепнулся в реку. Ледяная вода полоснула, — ножом, — захлебы-

ваясь, всплыл... Попытался нащупать, разобрать: зверь ли, человек насел... и где верх его, где низ? Но ничего этого в мягком, мохнатом и могучем теле врага не удавалось отличить. «Иисусе, Иисусе», — взмолился Боб и последним усилием, отчаянным, судорожным броском, подмял его под себя, зажимая и все таки безразлично отстраняясь. Страх, злость, покорность и безвозвратная решимость... Это ли испытывал Яков, когда боролся с таинственным Ангелом, на пол-пути!

Очнулся Кастэр на спине: его несло, болтало стремительным потоком.

«Чей это неприятный хрип?» — подумал и догадался: его собственный, испуганный и яростный. Кромешная тьма: один на вселенную. Где друг, где отец? Лодки не видно. Только очертания влажных бесформенных масс повисли над самой головой. Опять буксир: тяжело и добросовестно вздыхает.

Разбитый, замерзший, наглотавшись воды, Боб Кастэр, не размышляя, поплыл в сторону, подальше от машины и вскоре очутился под выступом берега: чуточку повыше места, откуда упал.

Обдирая руки, вскарабкался и быстро зашагал прочь, хромая, не замечая, что повредил себе ногу. Холодно: всего трясет. И все таки: странное удовлетворение, полная ясность, душевный покой. Тишина. И что-то понятно.

«Надо передохнуть», — шепчет неповоротливыми губами Боб, устало озирается: где Джэк, его не видно.

Ночь, ночь. Кругом ни огня. Ковыляет человек, а за ним, слегка отстав, вечность.

Боб знает: в палату он не вернется. С этим покончено. Надо отдышаться. Придерживая ногу, бредет к скамейке.

Задремал или впал в забытие: минута, час... Когда опомнился, небо уже прояснилось, очистилось, светлело. Редкий, весенний ветер разгонял туман.

— Вы простудитесь, безумец, — говорил знакомый голос: очкастый доктор склонился над ним.

— Ах, это вы, — искренне обрадовался Боб. — Вы видите,

я покидаю остров. Я уже прыгал в воду и сейчас опять попробую.

— Да? — серьезно и задумчиво осведомился тот и неожиданно добавил: — Идемте, идемте со мною.

Боб беспрекословно повиновался. Они пересекли остров с запада на восток, подошли к старенькому, каменному павильону, обросшему не то мхом, не то плющом; по витой лестнице поднялись на второй этаж и на ципочках прокрались в комнату к очастому, похожую на монастырскую келью или тюремную камеру.

— Быстро, меняйте платье, — сказал доктор, явно волнуясь.

— У меня был свертки, — попробовал объяснить Боб, но не закончил и начал облачаться. Надел белье, потрепанные брюки, свитер и куцый плащ.

Не мешкая пустились вниз... Пустырь, лужи, затем, по виду, модный отель, снова пустырь и вот, — мост. Небрежно прошли мимо привратников: те глянули профессионально-зорко на доктора и его спутника. А дальше лифт, тяжелый, медлительный и огромный: подкинул их на уровень моста. Опять рогатка.

— Hallo Smithy, — кивнул очкастый.

— Hi doc, — с достоинством отозвался ирландец Смит.

Железные прутья последней преграды: щелк, щелк, — пропускает только по одному человеку зараз. Крытый коридорчик. Свобода: мост, шоссе, рельсы, надписи, — запрещено, штраф. Дребезжа подкатил старенький трамвайчик; Боб шагнул, дал никель, звякнул счетчик. «До свидания, amigo». И трамвай затрясся, мигая лампами, унося запах морга и крыс.

Ровно через час, Боб, счастливый, разморенный, уже сидел в баре на 2-м Авеню, — рядом Сабина, вымокший Спарт и Прайт, — глотал scotch рюмку за рюмкою и с любовью прислушивался к взволнованным голосам, — не понимая их рассказа.

— Ну что ты, ну что ты, говори, — бессвязно повторяла Сабина и заливалась смехом...

я покидаю остров. Я уже прыгал в воду и сейчас опять попробую.

— Да? — серьезно и задумчиво осведомился тот и неожиданно добавил: — Идемте, идемте со мною.

Боб беспрекословно повиновался. Они пересекли остров с запада на восток, подошли к старенькому, каменному павильону, обросшему не то мхом, не то плющом; по витой лестнице поднялись на второй этаж и на ципочках прокрались в комнату к очкастому, похожую на монастырскую келью или тюремную камеру.

— Быстро, меняйте платье, — сказал доктор, явно волнуясь.

— У меня был сверток, — попробовал объяснить Боб, но не закончил и начал облачаться. Надел белье, потрепанные брюки, светер и куцый плащ.

Не мешкая пустились вниз... Пустырь, лужи, затем, по виду, модный отель, снова пустырь и вот, — мост. Небрежно прошли мимо привратников: те глянули профессионально-зорко на доктора и его спутника. А дальше лифт, тяжелый, медлительный и огромный: подкинул их на уровень моста. Опять рогатка.

— Hallo Smithy, — кивнул очкастый.

— Ni doc, — с достоинством отозвался ирландец Смит.

Железные прутья последней преграды: шелк, шелк, — пропускает только по одному человеку зараз. Крытый коридорчик. Свобода: мост, шоссе, рельсы, надписи, — запрещено, штраф. Дребезжа подкатил старенький трамвайчик; Боб шагнул, дал никель, звякнул счетчик. «До свидания, amigo». И трамвай затрясся, мигая лампами, унося запах морга и крыс.

Ровно через час, Боб, счастливый, разморенный, уже сидел в баре на 2-м Авеню, — рядом Сабина, вымокший Спарт и Прайт, — глотал scotch рюмку за рюмкою и с любовью прислушивался к взволнованным голосам, — не понимая их рассказа.

— Ну что ты, ну что ты, говори, — бессвязно повторяла Сабина и заливалась смехом...

А утром его и Сабину разбудил тревожный звонок:

— Special Delivery! — Сабина приняла пакет, не успев вручить мальчишке четвертака (по отцу англичанка, она, однако, не была скупа).

“To whom it may concern”... — значилось на официальном бланке... Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в прошении от 1.3.1943, настоящим удостоверяем, что Роберта Кастэра, — 36 лет, местожительство г. Нью-Йорк, — несмотря на темную окраску кожи, надлежит считать расы неопределенной (indefinite) ...

— Ох-хо-хо-хо, — утробный, безудержный, отвратительный хохот потряс Боба до основания. — Милая, милая, — сиделся он произнести: — Ты замечаешь, как это просто.

— Для начала это не плохо, — рассудительно подтвердила Сабина. — Знаешь, давай обвенчаемся.

44. Праздник

Солнечное, летнее утро, раннее, ясное. Возбуждение предыдущего дня, наконец эта чудесная бумажка, — «расы неопределенной», — слишком много впечатлений. Человек, вообще, больше приспособлен к неудачам. Не сиделось на одном месте. И Боб, несмотря на больную ногу, предложил Сабине отпраздновать этот день. Выбор был небольшой. Слонялись по городу. Посмотрели витрины на Пятом Авеню. Съездили открытым автобусом — в обе стороны. Сходили в синема на Бродвее. Устали.

Всей компанией обедали в Sea food: огромные омары и белое вино. Потом вернулись домой, т. е. к Сабине.

Настроение у всех друзей было приподнятое. По новому, с уважением глядели на Боба, прислушивались к его словам: победитель.

Особенно неистовствовал Прайт, пожалуй слегка возбужденный вином.

— Да понимаете ли вы что случилось? — вопил он, нервно расхаживая по комнате. — В состоянии ли вы сообразить? Нет, нет, это чудо. И зачем я, дурак, отказался. Всю жизнь я мечтал о нечто подобном, и вот когда оно давалось мне в руки: испугался, предал и потерял. Я совсем не глуп и не плох и не

труслив. А поступаю именно так: глупо, подло и трусливо. В чем тут секрет?

Сабина радостно и горделиво слушала его покаянную речь. Ведь она всегда утверждала, что Прайт не безнадёжен.

А Боб Кастэр, счастливый, одурманенный, разливал вино по стаканам, чокался, кланялся, готовый всем протянуть руку, забыть старые обиды, если надо, помочь.

Вечером неожиданно появился и Патрик, бывший муж Сабины. Он привез все нужные бумаги: развод утвердили. Патрика перевели уже в лагерь вблизи Нью-Йорка, откуда солдат отправляют непосредственно в Англию.

— Впрочем, — объяснил он тихим, вежливым голосом, — некоторые части дожидаются своей очереди неделями, а то и месяцами.

Он оказался и лучше и хуже чем его себе представлял Боб по рассказам Сабины. Через какую узкую щелочку люди видят друг друга! В сущности они замечают только лично им приятное или неприятное в человеке, а на остальное не обращают внимания. (Сабина несколько раз повторила, что Патрик сильно изменился и что военная форма ему очень к лицу).

Патрик производил впечатление делового, трезвого гражданина, любящего точность, определенность; все непонятное ему он презрительно называл «мглой», для слабых и глупых людей, и отстранял от себя как ненужное и даже враждебное. Интересовался он политическими и социальными новостями: помнил имена известных газетных корреспондентов и что они писали о Гитлере, Сталине и Черчиле.

Присутствие солдата, который, быть может, в ближайшие недели будет штурмовать берега Европы, придавало беседе особую остроту и целесообразность.

Заговорили о степени ответственности немецкого народа. Доктор Спарт доказывал, что виноваты, главным образом, не палачи, грубо казнившие невинных, а немецкая культура в целом.

— Расизм порождение немецкой национальной души, точно так же, как идея социального рая характерна для русского

национального гения. Немецкая философия, наука, музыка, подготовляли и рождали эту доктрину. В той или иной степени и Гете и Лейбниц и Вагнер и Гегель и все другие немецкие герои объединены одним духом, страдают тем же недугом.

Не ограничиваясь голословными утверждениями, Спарт начинал по пунктам разбирать монады Лейбница, бога истории Гегеля, «чистый» разум Канта и всех, что строили с упоением систему вселенной на манер тюрьмы, в которую заключали человека уже связанного по рукам и ногам.

— Борьба должна вестись против немецкой культуры и в первую очередь против немецкого языка, а не против расы или отдельных палачей! — утверждал Спарт.

А когда Патрик, чуждый крайностям и преувеличиваниям, называл имя немца, пожалуй, бесспорно заслуживающего уважение, доктор Спарт возражал:

— Он не характерен для их основной линии... он австрийской культуры... он наполовину славянин...

— Пока в мире будет хоть одно голодное или униженное существо, войны и революции неотвратимы, — говорил в свою очередь Боб Кастэр.

От Патрика ускользала связь между всеми этими отдельными утверждениями. Он ненавидел сумбур. А сумбуrom он считал все, чего не понимал. Патрик любил видеть точно: очертания предметов и суть вещей. Он так и говорил: «Я этого не вижу... или: мы видим, что...»

Доктор Спарт наконец возмутился:

— Послушайте, ведь зрение не есть главный критерий действительно существующего. Зрение часто мешает даже, рассеивая, отвлекая внимание. Зрение совсем не основная функция нашей души, почему предоставлять ему господствующее положение? Гегемония зрения в нашей культуре, в науке, в философии, в искусстве привела к катастрофе. Иногда человек слепнет и лишь тогда для него открывается целый мир. Возьмите для примера: глухо-немое от рождения и слепое. Чья душа более беспомощна, уязвлена, ближе к скотскому состоянию

подчас? Именно душа глухо-немого. Мир звуков, и главное Слова, важнее. А вы все: «увидим, я не вижу, мы видим».

— Вы все какие-то артисты, философы, творческие люди, — усмехаясь, тихо заметил Патрик. Чтобы построить дом, нужен один архитектор и много кирпичей. И кирпич должен лежать там, куда его положили, иначе ничего не получится. У нас в конторе какие-то люди бегали, сустились, руководили, составляли планы; а старик, работавший в лифте, проторчал на этом месте сорок лет. И ему в голову не приходило шевелиться, двигаться; то же самое телефонистки, упаковщики. И это самые полезные люди для предприятия. Благодаря им в шахтах добывается уголь, заводы производят полезные вещи, корабли выходят в море и солдаты выигрывают войну. Вот я такой кирпич и только.

— Наш долг быть одновременно и кирпичем и архитектором, соединять в себе их черты, — сказал Боб.

Патрик уклончиво пожал плечами и откланялся. Ему хотелось еще погулять на Таймс Сквере.

А через две недели Кастэр и Сабина обвенчались. Присутствовали все друзья; ждали Патрика: он обещал приехать, если получит отпуск и если еще будет на этом берегу. Но он не явился. После церемонии гуляли за полночь на новой квартире законной четы (Вест 12 улица); Прайт мучительно опьянел и расшиб себе лоб об умывальник; Магда нежно за ним ухаживала.

45. Кирпич

Действительно, в пятницу, — за несколько дней до высадки союзников в Нормандии, — когда Патрик собрался ехать в Нью-Йорк, по лагерю разнеслась весть: больше не дают отпусков, а выданные недействительны. Это означало: погрузка. Все заволновались, подтянулись; даже определенные трусы и бабы заразились общим мужественным настроением. И если бы их в тот же вечер отправили куда-то и выставили на линию огня, то многие, легко и весело, сделали бы героями. Но до этого было еще далеко. В таком состоянии нервного подъема

они провели еще два дня. Бестолковые, противоречивые распоряжения. Пришлось украдкой развязать узлы, снова устроиваться. Наконец, под вечер, их выстроили и продержали несколько часов под дождем; потом пришли камионы и тогда в ужасной спешке всех разместили по машинам. (Вообще, вся жизнь солдата состояла из смен недель томительного, беспоконного ожидания и часов внезапной и такой же бесцельной спешки).

К месту погрузки приехали ночью. Холодно и враждебно шумела вода; пахло гнилью. Солдаты были без ружей и боеприпасов, но с касками, ранцами и всем личным имуществом. И когда они, гуськом, на ощупь, под окрики офицеров, пробирались по узким, скользким сходням, то каждый уже чувствовал себя обреченным, попавшим в западню, сусликом. Разместились в трюме, готовясь к ужасам морской болезни, мин, подводных лодок, аэропланов, пятой колонны; начальству не доверяли, считая его небрежным и бездарным, и все меры предосторожности вызывали только презрительную улыбку. Сержант — хам. ябеда и подлиза. Лейтенант, — мальчишка, зарабатывавший до войны 22 доллара в неделю (все солдаты, в прошлом, зарабатывали или могли зарабатывать гораздо больше). О капитане доподлинно известно было, что он родственник крупного чиновника в Вашингтоне.

Начальство до того ненавидели, что всякого солдата, старавшегося быть образцовым, считали предателем. Сладострастно сплетничали: их обкрадывают, обманывают, продают.

Эти черты развились уже давно, в лагерях и казармах, но теперь, в обстановке корабля, опасности, неурядицы, проявляли себя с новой силой.

Выслушали объяснения морских специалистов, поглядели на спасательные приборы. Улеглись в трюме. Шелтались. Говорили, что транспорт слишком велик и недостаточно защищен. Морские власти сняли с себя ответственность за благополучный переход, но армия настояла. Перехвачена радио-телеграмма из Буэнос-Айреса: подводным лодкам охотиться за этим кораблем.

Все готовы были верить; даже испытывали злорадное

удовлетворение: ибо все, что доказывало никчемность начальства, радовало.

Патрик через силу слонялся по палубе: кругом, до самой черты горизонта, виднелись, постепенно уменьшающиеся, силуэты кораблей огромного транспорта, — светило солнце и синяя, упруго выгнутая гладь, казалось, бесцельно перемещалась, оставаясь на одном месте.

Патрик начинает новую жизнь, как и Сабина; а если он вернется... опять — все сначала. Но он не жалуется. Патрик вспомнил обидный разговор с друзьями Сабины. Черномазый Боб, Спарт. Они интеллигенты. Хитро говорят. А его дело маленькое: лежать там, где его положат. Он кирпич. Подумаешь: надо быть и кирпичем и архитектором одновременно! Попробуй это выполнить!

«Едем, едем, — стучало сердце. — Завоевывать Европу. Какой вздор».

Патрика стошнило. Осторожно пробрался к своим нарам, --- в потемки и духоту трюма.

Через силу поели. Ночью сильно качало. Было чувство полной беспомощности. Хаос океана, а там еще подводные лодки: крадутся за ними, высовывают свой стеклянный глаз. Вся надежда на храбрых капитанов, бдительных и мудрых. (К морскому начальству армейцы относились почему-то с уважением).

Утром говорили, что один корабль потонул, бросали глубинные бомбы: кто-то слышал взрывы и крики, видел зарево пожара.

И опять солнце, лоснящаяся туша живого моря: оно дышит, ритмически и стихийно. Начали привыкать, устраиваться; побрились, написали письма, а там покер и кости.

И когда, через десять дней, показались берега Англии, сердца тоскливо и грустно сжались: кончается еще один период, быть может самый приятный, их жизни.

В дождливый полдень подошли к черной, изуродованной прибоем, земле.

— Это Глазго, — шопотом передавали друг другу солдаты. — Это Глазго.

В казармах их встретили соотечественники, уже несколько недель проторчавшие на новом месте; встретили в общем снисходительно и враждебно. Цепь недоброжелательства шла непрерывно от раненых в бою до тыла. Новобранец завидовал героям работавшим на оборону за хорошее жалование; старый солдат не любил новобранцев; переплывший океан давно презирал недавно прибывших; затем шли побывавшие уже в бою, но и там имелись свои оттенки и иерархии, дававшие право на ненависть.

— Oh, my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine, — пели солдаты, возвращавшиеся с учения. Грязные, мокрые, с совершенно зверскими лицами, они тащили на себе тяжелую аммуницию.

— You are gone and lost for ever. Dreadful sorry, Clementine.

Слезая на берег, Патрик неловко подвернул ступню; на следующее утро нога распухла и болела. Он отпросился к доктору, — за мазью.

— Вы счастливчик, — шептал ему на ухо фельдшер, очень нервный паренек, с дурным запахом изо рта: — С такой ножкой вы можете записаться в госпиталь. Рентген, анализы. Хромайте, хромайте, да и только. А пока вашу часть отправят: половина перемерет, а вторая половина ляжет под машинами немцев. Понимаете? А вы сможете ловчить: знаю языки, специалист и к тому же еще психопат. Посмотрите на меня, — убедительно шептал фельдшер: — Я так сделал, а моих товарищей уже нет. Хотите в госпиталь?

— Я подумаю, — сказал Патрик. — Конечно соблазнительно.

Он шел назад, прихрамывая; вспоминал последние годы своей жизни. И Боба, Сабину, Спарта. «Что я кирпич или архитектор?» — с недоумением спрашивал.

В казарме его встретил сержант:

— Ну, что твоя ножка?

— Пустяки, — ответил Патрик. — Не стоит об этом говорить.

— Да? — сержант взглянул на него как-то особенно внимательно и строго.

— *Wish me luck as I wave you good-by. Cheerio, here I go on my way, —* пели солдаты за окном. — *Wish me luck as I wave you good-by. Not a tear, not a fear, make it gay.*

В то самое утро, когда Патрик побывал в госпитале и благополучно вернулся в казарму, за две тысячи миль, в Европе, жители маленького городка проснулись рано. Немцы начали сгонять отобранных людей еще до восхода солнца. Говорили, что их всех отправят в лагерь, но многие из обреченных знали, что это ложь: у железнодорожного моста осушили пруд и приготовили братскую могилу.

К 11-ти часам людей кое-как собрали и выстроили; оставшиеся на свободе начали появляться у своих ворот и окон. Они стояли молча с каменными лицами и смотрели. Колона почти сплошь состояла из стариков, старух и детей; по крайней мере такое создавалось впечатление.

Высокий человек, помоложе, но тоже обросший черной бородой, шел у обочины дороги, неся на руках белокурую девочку лет пяти.

— Папа, — говорила она, — мой папа.

— Не надо бояться, — отвечал он ей шопотом. — Не надо плакать. Ты должна обещать мне не плакать, не кричать.

— Почему? — с любопытством спрашивала девочка.

— Потому что это очень больно когда ты плачешь. Ты моя хорошая девочка, не правда ли, моя девочка.

— А там мы увидим маму?

— Я не могу тебе обещать, — серьезно ответил отец.
Я не знаю.

— Но мы увидим ангелов?

— Вероятно. Ты только крепче прижмись ко мне и через минуту все будет кончено.

— Мы будем все время вместе? — настаивала девочка, обхватила его рученками.

— Да. Может быть на секунду нас разъединят, но ты не

будешь плакать, потому что это только на секунду.

— Я не хочу остаться одна даже на секунду, — просила девочка.

Солнце припекало; неровно мощенное шоссе, засохшая грязь, пыльная бесконечная дорога. На окраине, у маленького домика дорожного сторожа, стоял бородатый старик с каменным лицом. Мимо него гнали это стадо изнуренных, грязных людей. Неожиданно, он рванулся вперед к солдату конвоя:

— Детей зачем трогаєте, ироды, детей зачем трогаєте? — крикнул старик и замахнулся.

Солдат не понял его слов, испуганно отпрянул, потом ударил его прикладом ружья; подбежало еще несколько конвойных, потных, изгоряченных трудной работой. Старик упал: «Ироды, — слышалось, — прроклятые».

— Девочка, я могу обещать тебе, — прошептал вдруг отец: — Ты увидишь сегодня маму.

— Что они сделали, что они сделали? — с ужасом спрашивала она, не ожидая ответа. — Это злые люди.

— Нет, злые люди такого не делают, — возразил тихо отец. — Понимаешь, они не они. В этом вся загадка. Они не они. Потом они скажут: разве мы это делали? Мы не понимаем кто это делал, они скажут.

— Да, да, — повторила девочка.

У молодого березняка колону остановили, люди жались к тени. По ту сторону рожицы был пруд, осушенный для братской могилы: отсюда слышались ясные и звонкие, в сухом воздухе, — очереди автоматических ружей. Лихой, распорядительный офицер метался от рожи к пруду и обратно, увозя с собою каждый раз несколько десятков человек.

Люди никли к деревьям медлительные и бледные, почти не разговаривая; изредка слышен был только плач грудного младенца, требовательный и тщедушный, покрываемый звериноподобными окриками терявших самообладание солдат стражи: они металась между обреченными, замахивались прикладами, почему-то не позволяя никому сесть или прислониться к дереву.

— Девочка, теперь время. — сказал отец: — Ты обещала

не плакать, — и судорожно обняв ребенка, сутулясь, он быстро зашагал, подгоняемый конвойным.

У сырой ямы, наполовину переполненной лежащими навзничь телами, стояли солдаты в черных мундирах; потные их лица были перекошены, рты открыты и оттуда вырывались неразборчивые крики. Конвойные ударами подгоняли близко своих поднадзорных, потом отбегали. Тогда солдаты в черных мундирах начинали яростно вертеть, — от бедра, — короткими автоматами, судорожно нажимая на гашетку... Люди бежали вперед со смеженными глазами, потом останавливались, открывали глаза и падали.

У края ямы, на корточках сидел немец в мундире, очкастый, с тяжелым длинным носом; он давно не стригся и его длинные волосы придавали ему сходство с Шиллером или другим романтическим поэтом; он торопливо заряжал свой автомат, впихивая дрожащей рукою новый диск; обгоревшая папироса жгла ему губы, он злобно сплюнул окурок и выпростал ногу: затекало колено. В это время, навстречу, — под самое дуло, — шагнул, сутулясь, бородастый мужчина с девочкой на руках.

«Улыбается» — отметил немец и быстро, словно из пульверизатора, обдал их горячей, свинцовой струей.

Человек постоял еще с минуту, потом вздохнул и медленно съехал на локтях в яму, прикрывая собою ребенка: только прядь золотистых волос разметалась снизу. Шиллер еще раз, наугад, выпустил короткую очередь в их сторону.

— Сволочи, сволочи, — вопил он, бешено сжимая ствол прыгающего ружья.

46. Новобрачные

Изредка Боб чувствовал на своем лице ее лучистый, счастливый, полный душевной решимости, взгляд. Он смущенно проводил рукой по своей щеке и спрашивал:

— Что, посветлел?

— Нет, отвечала Сабина, улыбаясь. — Но это пока не важно, — подходила вплотную, со всей доброй волей, на кото-

рую только была способна, и целовала, присасывалась: щедро переливала в него часть своих сил, жизненных соков.

«Вам нельзя долго стоять... Вам не следует нагибаться... Не утомляйте себя чересчур...» — то и дело слышала она, словно ее беременность лично касалась многих посторонних.

Вообще Сабине нравилось быть в центре внимания, но в данном случае это сочеталось с лишениями: диета, покой и прочее... Ей делалось скучно, все приедалось. Казалось никто ее не понимает. «Глупые. И все таки материалисты. Я лучше знаю что здорово и что вредно», — неожиданно заливалась слезами.

Магда жила теперь у доктора Спарта. В первую ночь после высадки союзников в Нормандии, они засиделись так поздно, слушая радио-сводки, что Спарт, боясь ее отпустить одну в Harlem, пригласил Магду к себе. Странно, она очень пришлось по душе его помешанной жене и доктор ей предложил остаться на правах компаньонки, сиделки, секретарши. Больная подружилась с Магдой: позволяла себя умывать, кормить, даже выводить на улицу!

Магда к ней относилась с материнской любовью; явно преувеличивая, расхваливала ее ум и душевные качества. Она реже стала навещаться к Бобу и Сабине; забегала иногда вечером: посидит, молча, усталая, одинокая и упорная в своей неприимости.

Колено Боба Кастэра, контуженное во время бегства с Острова, продолжало ныть и хотя рентгэн не показал серьезного повреждения, ему, однако, рекомендовали покой, ванны, компрессы. Он лежал, часто один, — по утрам Сабина все еще работала у Макса, — нежился, читал, довольный этим вынужденным, заслуженным отдыхом. Читал он детские книги приключений, возбуждавшие волчий аппетит и жажду к легкой наживе. В частности одолел Робинзона Крузо, — тип совершенного колонизатора, естественного представителя английского империализма.

По вечерам они теперь чаще оставались наедине. Странно, когда Боб и Сабина жили отдельно, им постоянно мешали гости.

Теперь же друзья, не то стесняясь, не то скучая, реже показывались.

Им случалось иногда по целым часам, занявшись каким-нибудь делом, не замечать друг друга. Сабина кроила, вязала, шила разные, известные по интуиции женщинам, вещи, необходимые для новорожденных. Иногда подсаживалась к Бобу, целовала, тормошила, объясняла назначение тряпки, распашонки.

Он тоже ее начинал вдруг ласкать, целовать в засос, рассказывал всякий вздор, делился своими мыслями, чувствуя: где-то она его стесняет, душит... ему нужна отдельная комната, кровать и в этом нет кажется преступления. И Бобу казалось: поражение пришло с совершенно неожиданной стороны. Так победоносная орда, легко заняв провинцию исторического врага, вдруг узнает: тот в это время грабит их незащищенную столицу.

Почти счастливы, в ожидании потомства, которое, будто бы разрешит отложенные, спорные вопросы: швырнули примачку и обошли с тыла. Боб это ей неясно высказывал.

— Да, возможно, — соглашалась Сабина, прислушиваясь к истине, убедительной как жизнь, в ее чреве. — Да, не надо сдаваться, — ангельская, прекрасная, земная улыбка, обжигала изнутри ее лицо: она уже несколько раз чувствовала движение плода. (Казалось, «он» пальчиком, небесно легко, вопросительно притрагивается, спрашивает: можно, можно мне жить?) — Ах, я ничего не знаю! — радостно вскрикивала Сабина. — Знаю только что это жизнь! И какой хороший у нас Бог. И пожалуйста, не надо больше, please, s'il vous plaît, bitte, пожалуйста, пожалуйста! — повторяла она, по детской привычке, это слово на всех языках и обнимала его, тормошила, ласкала.

Напрасно Боб ее уговаривал: «Спи, спи, поздно уже»... Она не желала уgomониться, веселилась как бесенок, усталая и предприимчивая.

Особого рода нега, лень, беспомощное доверие овладевало им: глаза слипались от усталости, что-то непонятное творила Сабина, смеясь хлопотала над ним. Боб морщился, кряхтел и безмятежно растворялся в этой сладостной стихии. Она при-

думала игру: кругом толпа людей, Боб укрыт с головой одеялом, Сабина обращается к свидетелям:

— Посмотрите на льва, посмотрите на волка, посмотрите на хищного зверя, все, все смотрите, вот он лежит...

И отбрасывала одеяло; заливалась неудержимым смехом: таким кротким ягненком он покоился на подушке.

47. Молитвенное состояние

В продолжении трех десятилетий основным занятием доктора Спарта было — выскребывание младенцев. Без всякого оправдания, без особой причины, предавался этой странной деятельности. До того бессмысленно, что он сам теперь этому не верил. Доктор Спарт отстранил от себя прошлое, нелепое и чужое... Легко перешагнул, — словно скинул потешный халат, снял маску и снова стал самим собою.

Магда привела в порядок его квартиру. Опрятные комнаты, чистые окна, занавески. Свет, воздух, шум жизни вдруг завибрировал, застучал по всем углам. Смолкло даже бесконечное бормотание его безумной жены... ее назойливый плач, прыжки к потолку (в сторону идеального мужа) почти прекратились.

По утрам, сразу после завтрака, Спарт уходил в свой просторный кабинет и усаживался за письменный стол. Он начал работать, читать, в связи с недомоганием Сабины: давно не занимался нормальной практикой, следует кое-что освежить в памяти... Вскоре, однако, границы его интересов расширились и он перешел к вопросам общей физиологии, патологии... Какая красота: все сложно и просто, ибо согласовано. Склонившись над книгой, Спарт восхищался и трепетал, подобно поэту, любующемуся закатом солнца, или философу, узревшему мудрость Божьей воли.

Все дисциплины, усвоенные им когда-то и забытые, теперь раскрывались перед ним как одно, сплошное, вечно повторяющееся чудо. Углубляясь в механику или химию пищеварения, доктор Спарт вдруг испытывал молитвенный восторг. И действительно, ему случалось молиться, — коряво, неумело, — благодаря Творца за величие, мудрость, совершенство задуманного мира.

Он даже несколько раз побывал в церкви, но привело доктора туда не чувство умиления, а откровенный страх за Сабину. Порою на него нападал непреодолимый ужас. Спарт привык уже связывать свою новую жизнь с благополучными родами Сабины и мучился, подозревая: опять злые силы вмешаются, опрокинут все расчеты. Есть в этом дьявольская логика. С удвоенным рвением принимался за свои, испещренные примечаниями, фолианты, перелистывал современные журналы, изуродованные рекламами сульфь, пенициллина, витаминов. Осматривал, протирал инструменты, давно не бывшие в употреблении, устраивал репетиции; повадился ходить в модный госпиталь, где честные коллеги, — извлекавшие главным образом аппендиксы, амигдалы, подстригавшие дамам носы, — зная дурную репутацию Спарта, безгласно сторонились его.

Внутренняя жизнь Спарта замерла лет тридцать тому назад и внезапно, теперь, получила новый толчек. Душа его еще жива: ее обдало теплым дождем и она зашевелилась, готова приносить плоды. Он разыскал свою старую записную книжку, род дневника... Пожелтевшие страницы, выцветшие чернила, а слова написаны точно вчера. Между молодым Спартом и теперешним, преображенным стариком легла только одна ночь: темная, пустая, жадная. Дневник напоминал ему Боба Кастэра. Не содержанием, а общим тоном неудержимой, священной, страдающей творческой воли и жажды преображения. Доктор Спарт удвоил свое внимание по отношению к Бобу: надо помочь. Но как? Все-таки странный случай. И чем больше Спарт заботился о других, тем сильнее становился сам и удовлетвореннее. «Главное счастье это дарить счастье», — с изумлением повторял он фразу из собственного, юношеского дневника. И вдруг снова сомнения, страх, овладевали им. Он понимал: удача в основном деле жизни человека не может притти легко... и видел близость возможных осложнений. В этом смысле особенно плохо на него влияла Магда.

С самого начала он ее не взлюбил. Считал: у Боба и без того много забот, нельзя отвлекаться. Как хирург знал: необходима жестокость. Кроме того, Спарт терпеть не мог психопат-

ток и от мистики Магды, где много бесенят уживались с плохеньким ангелом, его мутило. Но он догадывался, как ей трудно сводить свой биологический бюджет, и не спорил с Бобом и Сабиной. В конце концов, они спасали Магду, быть может, от немедленной гибели. Трудясь над одним большим добрым делом, обязательно совершаешь попутно и много других положительных поступков (такова диалектика добра). Они выглядят мелкими, но кто знает, как впоследствии будет произведена классификация... И автор толстых романов через полвека остается в литературе только благодаря своим письмам к любовнице или к другу (с просьбой о десяти долларах). Однако, любовь Магды к его жене, — и благотворное влияние, — заставили доктора Спарта насторожиться; а разговоры ее приводили доктора в отчаяние. Получалось, что дело ее жизни как раз в противоположном. Победа Магды — их гибель! Беременность Сабины она считала мерзкой затеей, — с целью опутать, связать Боба, превратить его в раба, в трутня. Если с ним Бог, Он освободит Кастэра от этой женщины: это может случиться только если ребенок погибнет! Боб останется один и будет продолжать свой путь без соглашений, без уступок и сладеньких полагачек. Когда-нибудь он, пожалуй, встретит девушку достойную его. (Связь Магды с Бобом особая, потусторонняя и помешать этому никто не в силах).

Слушая ее сумбурную речь, — чередование вздорных и верных замечаний, — доктор Спарт совершенно терялся... Ее доводы начинали ему казаться убедительными. И это его пугало и мучило. Даже любовь Магды к слабым и больным раздражала Спарта теперь и злила. Скрепя сердце он терпел, зорко однако, исподтишка, следя за ней, под разными предложениями оттесняя ее от Сабины.

Магда снова посещала собрания в подвале цирюльни, под председательством Джэка Ауэра. Пошла туда, чтобы доказать свою независимость от Боба, и постепенно втянулась, находя утешение в их играх, пищу для ума. Состав «Братьев» несколько изменился: один умер, один уехал и его место занял новый член общества, — Габи Виви, цирковой клоун. Если взять на-

чальные буквы имен политических деятелей этой эпохи: *Churchil, Hitler, Roosevelt, Il Duce, Stalin, Tojo...* то получится, CHRIST. Вот чем они теперь занимались, на пути внутреннего самосовершенствования.

48. Полет

В середине июля доктор Спарт торжественно заявил, что пора выбрать комнату в клинике: так делают лучшие пациенты. Сабина и Спарт поехали в больницу. (Днем Боб редко показывался с нею на улице. Негр рядом с белой женщиной на сносках, — даже рискованно).

В хорошее родильное учреждение доктору Спарту не удалось поместить свою клиентку: коллеги, знавшие его, взбунтовались. Пришлось удовлетвориться сомнительным заведением, где Спарт много десятилетий, сообщал с 2-3 такими же специалистами, занимался, почти исключительно, подозрительными манипуляциями.

Старшая сестра, рыжая, древняя, покрашенная (и у нее в жизни что-то сорвалось, иначе не попала бы сюда!) уверенно повела их: корридоры, этажи, двери общих палат и отдельных комнат... Все как у людей, как полагается, но Боже, до чего темно, уныло, неуютно, — думала Сабина, опечаленная. А Спарт не узнавал сегодня этого места: служащие подтянулись, сестра бескорыстно улыбалась, шутила, и мрачные стены, — тюрьма или фабрика, — словно озарились солнечным светом, легче стало дышать. Все ласково и благодарно поглядывали на доктора: им нравилось, — вот настоящая больная, можно заняться подлинным делом.

Сабина, по совету старшей, выбрала комнату побольше с два окна. Предполагаемый срок: 2-ая неделя сентября. («Надеюсь сентябрь будет прохладный» — любезно осклабилась сестра).

Затем они сидели у Schrafft'a; на белые, кружевные, бумажные салфетки ставили мисочки со следами еды. «Если у кого язва желудка, то и ему не повредит», — смеясь пояснила Сабина.

Доктор Спарт уговаривал ее бросить работу (он очень

страдал от жары). Сабина обещала это сделать в конце месяца: Макс теперь в ней слишком нуждается. Она отделяет роман его родственника, семнадцатилетнего мальчика: через месяц уходит во флот и обязательно хочет успеть закончить хоть одну книгу. Парень даровитый, но разумеется невежда.

Город душила и плавил мутная, парная, неподвижная жара, понятная только жителям Америки и экваториальной Африки. Воздух тяжелый, вязкий, перемешанный с кипятком. Если подует ветерок, — обдаст раскаленным паром, углем, газом... и опять стойкая, горячая, затхлая ванна.

На город давило море испарений; маслянистые пятна проступали на спинах мужчин; девицы в конторах, поднимаясь со стула, оставляли на нем влажный след.

Нормальная жизнь прекращается на эти месяцы, — говорил доктор Спарт, вытирая мокрую голову своим пестрым платком. — Особенно страдают женщины... И сенная лихорадка, аллергия, экземы, неизлечимые под этим небом болезни кожи!

А Сабина думала: «От холода страдают, главным образом, нищие. В жаре есть демократическое начало. Конечно, богатые могут уехать...»

Сабина боится одна уехать. Расстаться с Бобом. На двоих денег не хватит. К тому же, он негр.

— Шарада, — смеясь сказала она: — Где негры проводят свой летний отпуск?

Послышалось что-то похожее на громыхание: глухое, отдаленное. С конца мая Нью-Йорк ждал грозы: две недели метеорологические станции ее предсказывали. И вот она прошла: над рестораном Шраффта. Высоко, высоко в мутном небе проплыла словно туша кита: затрепетало, желтовато вспыхнуло и успокоилось. Мелкие капли дождя испарялись, не достигая земли, обдавая, раскаленные стены города, жаром, — как в русской бане.

Горожане, с мокрыми животами и промежностями, как зачумленные крысы, выбегали из контор и магазинов. Миллионы, запертые на многоэтажном маленьком острове. Толпа здесь не пахла. Особенно поражали Сабину женщины: ни дурного запа-

ха, ни духов. Стерильность. Смесь Пастера, холодильника и мальтузианства.

Сабина пожаловалась на головную боль: она не переносила искусственно охлажденного воздуха.

— Америка страна синузитов, — благодушно сообщил Спарт. — Впрочем, вам пора домой. Да и Боб уже верно беспокоится.

На улице они расстались: Сабина села в такси.

Доктор Спарт пешком вернулся к себе; Магды с Кларой еще не было. (Они теперь каждый день гуляли по набережной у Ист Ривер, заходили даже в кафетерию, освежиться). Он прилег на диван и задремал; сквозь сон слышал: женщины вернулись... Странные шаги Клары в туфлях на высоких каблуках, — выдумка Магды. Очнулся мокрый от пота, но отдохнувший. Захотелось чаю. Проходя по корридору, Спарт заметил в одной из комнат, на подоконнике, — в позе нелепой птицы, — свою жену: без верхнего платья, но в чулках и новых туфлях, она грациозно извивалась, делала руками плавающие движения у самого края растворенного окна.

Доктор замер у порога, боясь шевельнуться; из соседней двери показалась Магда и решительно, вдохновенно двинулась к больной, фальшиво весело выкрикивая:

— Миссис Спарт, миссис Спарт, что у нас сегодня к ужину?

— Ради Бога, — выдохнул доктор, пригвожденный к половине.

— Я сейчас, — радостно улыбнулась жена, поворачивая свое детское, старчески серьезное и капризное лицо. (Спарту почудилось: возвращается). И вдруг, уже на полпути, она как-то ожесточенно взмахнула руками: — Тыыы! — просто-нала... и прыгнула вниз.

На улице уже собралась толпа: молча смотрели на тело, потом поднимали глаза, ища окно. Доктор Спарт тоже зачем-то поглядел вверх: на пятом этаже, темное, зияющее.

Самонадеянно трубя, подкатил автомобиль скорой помощи. Полицейские начали оттеснять любопытных. Она лежала, — собственно сидела: только голова, в земном поклоне, тяжело

склонилась к мостовой, — руки сведены, как для молитвы: должно быть, при полете, ужаснувшись, она ладонями заслонила глаза. От сильного толчка, туфли ее соскочили и валялись, ненужные, рядом.

Жирную лужицу смыли: полицейский раздобыл ведро и щетку в соседней лавочке. Каретка умчалась; толпа стала редеть, наиболее упорным очевидцы сообщали новым прохожим подробности катастрофы, но и они постепенно рассеялись.

Доктор поехал вместе с телом жены, бережно держа под мышками туфли, купленные по настоянию Магды. Он смотрел на холодный мешок костей и мяса, подбрасываемый машиной: на поворотах тело покорно вздрагивало, тряслось, мертвое, непоправимое. Да будет Твоя воля. Он прожил с нею сорок лет. Теперь ему мнилось: лет тридцать уже не глядел на жену, не говорил с ней по душе, не интересовался ее мнением. Как-то упустил. После венчания они плыли по Дунаю, лето, небо, солнце или звезды... неважно. Обнимал ее стан: таинственное разветвление у бедер, крепких словно гнездо или логовище. Думалось: впереди еще много, много такого же или пожалуй лучшего. Ошибка. Впереди: ничего. Больше не бывает и не нужно. Пламя свечи обжигает как и пламя костра. 15 минут или 15 столетий. А потом длинная жизнь или то, что принято называть жизнью: канитель, бег по кругу. Надо было очнуться, а теперь поздно. Где она теперь? Очень это больно? Клара... Сейчас она ближе и знакомее ему чем вчера. Он заплакал, старик, бережно прижимая к груди нелепые туфли на высоких каблуках.

49. После грозы

Странно, доктор Спарт был теперь совершенно уверен в благополучном исходе родов Сабины. Что-то сдвинулось в его сознании и все сомнения исчезли. Он даже не искал объяснения этому чувству. Впрочем, поддерживали его разглагольствования Магды. Из ее слов явствовало, что Клара, — умная, добрая, святая, — принесла себя в жертву, искупила вину Сабины и дала возможность Спарту осуществить дело его жизни. Эти

рассуждения вызывали улыбку у доктора, но все же он к ним охотно прислушивался.

Сабине сообщили о несчастье лишь на следующий день с разными наивными предосторожностями. Она немедленно помчалась на квартиру доктора: постояла в комнате, где недавно, полуголая, — снизу вверх, — встретила зеленый, умоляющий, злой, знакомый, волчий и детский взгляд Боба Кастэра.

Магда сервировала чай, улыбаясь равнодушно и самоуверенно. Гибель безумной подхлестнула ее, зарядила новыми силами. Так химик, работающий над взрывчатым веществом, у которого, по неосторожности, внезапно оторвало палец, испытывает наряду с болью и чувство удовлетворения: он на верном пути, элементы сопрягаются.

Несколько беспомощно и даже смешно вел себя Боб Кастэр: решил удвоить внимание и бдительность, во все вникать, не полагаться на авось. Диета, лекарства, покой, молитвы — своевременно и в должных размерах. “Pray to God and pass the ammunition”, — он ненавидел это изречение.

Боб знал давно, с первой минуты, когда затеял эту борьбу за свое подлинное лицо, что вступает на трудный путь: идти не легко, а добраться почти невозможно. Последующие события только подтвердили его интуицию. И как матрос подводной лодки, пробирающейся по минному полю, начинает перемещаться с двойной осторожностью внутри самого судна, словно одно его неловкое движение на кухне или в гамаке может взорвать мину снаружи... так Кастэр теперь преувеличивал значение бытовых мелочей, стараясь избавить Сабину от всех забот.

Лето нагрело жестокое, парное, обезличивающее; застывший, адский воздух, — вязкий, липкий, — обволакивал город, душил все живое. По ночам люди метались на сырых простынях, кашляли, чихали под грохот вентиляторов. Тоскливо ревел, поднимающийся по Гудзону, океанский пароход и, изредка, над притихшим и затемненным Нью-Йорком раздавался гудок железнодорожного паровоза, но лирической грусти его песни не рождала.

Сабина лучше многих переносила жару. Если и жаловалась

то несерьезно, ребячливо. Поднималась рано, — хотя уже не работала у Макса, — завтракала вместе с Бобом, доедая и его порцию. Потом возилась по хозяйству, выдумывала себе занятие. После полудня отдыхала: мгновенно засыпала на широкой кровати.

50. Лето

После дневного отдыха, в будни, Сабина ехала до 59-той улицы: садилась на скамейке в парке или тихо шла в сторону озера. Внешне она почти не изменилась... По животу, — сразу видно: последние месяцы беременности. Но в целом, осанка, движения, такие же молодые, легкие, подвижные. А лицо преисполнено доброты, честной решимости и даже болезненного, детского, интереса ко всему окружающему.

На площадках, под грохот зевак, молодежь играла в baseball (поражало обилие левшей); влюбленные пары сидели в чашках, тенистых уголках; детвора носилась по пыльным лужайкам, с визгом догоняя щенка или мышинного цвета белку... Сабина с любопытством и нежностью глядела на ребят, спортсменов, матерей, на птиц и антилоп в зоологическом саду... подолгу останавливалась у колясок с новорожденными бэбэ.

Мужчины провожали ее одобрительным взглядом, дамы — сочувствующим или ревнивым. Она казалась образцовой, счастливой, законной супругой: сильная, некрупная, в изящном темном платье и с белым, — подобным шлему, — капором на голове.

В ее сердце не было страха: отважно ждала срока. Это даже удивляло Сабину: обыкновенно трусиха, всякую боль воспринимала как нечто оскорбительное, кокетничая своей слабостью... Теперь чувствовала себя куда увереннее Боба и других больших и храбрых.

«Когда страдания вполне осмыслены, они не пугают», — объясняла, улыбаясь.

Время от времени, Сабина присаживалась на лавочку, отдохнуть, выбирая места не слишком людные и не слишком пустынные. Особенно ее привлекали влюбленные: гуляют об руку,

вдохновенно обнимаются, застывают в долгом, иногда скотском, поцелуе. Она теперь научилась различать, под всякой внешне-стью, ту человеческую, земную, тяжелую святость, к которой сама была причастна. Сабина улыбалась матросам и их подру-гам в цветных носках, ясно и спокойно отвечала, заговариваю-щим с нею, одиноким, неудачникам.

Здесь, на этом камне, Сабина, десять лет тому назад, впер-вые поцеловала Патрика. Там, в беседке, она раз сидела ночью с русским художником. Боб, Бобик... «Нет, нет, — отгоняла она ненужные мысли. — Теперь все другое. Милый Боб, я не могу сказать: люблю, не люблю... Любить можно внешнее. Ты и я — мы одно».

Боб добьется своего, победит. А она родит. Только бы мальчик не был похож на нее. И конечно ребенок родится бе-лым. Всю историю болезни Кастэра Сабина воспринимала как-то не вполне серьезно: душа отказывалась признать очевидное. Бессознательно верила: после неожиданного, но безусловно удачного испытания, Боб проснется снова прежним, белым. И не нужно лекарств, хирургов, адвокатов. Дурман рассеется, ночь пройдет и все объяснится. Только не нужно об этом говорить.

А ведь она может умереть... Капризная, добрая, со всеми ошибками, и все таки зла никому не причинившая. Нет, это жестоко. Сабина знает, ее подлинная жизнь лишь теперь нача-лась. Кому она мешает... Она нужна Бобу, даже Магду больше не обижает. Боб выздоровеет, воскреснет. А если не совсем побелеет, то они уедут, после войны. В Россию или, еще лучше, в Китай, в пустыню Гоби. Там, в пустыне, Боб Кастэр реализует свои дары. После его опыта людям уже понятнее станет необ-ходимость бороться за собственное, подлинное лицо. Пример для всех, неискоренимый! О, Боб прав, это великая тема и стоит потраченных сил.

Часто, у озера, — где было несколько прохладнее, но из-водили комары, — Сабину поджидал Прайт. Он опять влюбился: Барбара Лотт... и восторженно делился подробностями очеред-ного романа. Нечто райское, неосознанно скотское и милое.

Его рассказы напоминали Сабине ее собственное прошлое, — далекое и преодоленное, — они смешили ее и развлекали. Лениво усовещала Прайта, давала высоконравственные советы...

Неподалеку играли дети, по виду, беспризорные. Кричали, жестоко дрались. Беседа с Прайтом не мешала Сабине внимательно следить за их играми и страстями, где преобладала жажда властвовать и развлекаться. Проявление сонма добрых и злых склонностей, с обязанностью немедленного выбора, — в этом возрасте, — ужасало ее.

Сабина возвращалась домой уже в сумерки: ехала в переполненном автобусе, недовольная если ей уступали место и, в то же время, польщенная. За стол усаживались поздно: Боб, овдовевший Спарт, иногда Магда, Прайт. (Последний даже раз привел свою очередную мучительницу: Барбару Лотт).

Друзья. Они весело чокались, шумел вентилятор. От вина казалось: зной спадает. У плиты возился доктор Спарт.

» Это слишком ответственное занятие для женщины, — уверял он серьезно. — На кухне требуются фантазия и щедрость. Не подпускайте англо-саксов к горшку. Когда вы заправляете блюдо, надо чтобы у вас была слонка во рту».

Спарт славился своими салатами, рагу-де-мutton и *boeuf bourgignon*. Сабина любила сервировать стол: скатерть, тарелки, салфетки, — цвета тщательно подобраны. «Кушайте, господа, кушайте». Даже Магда веселела, хмелея от одного вида пузатых графинчиков. Непринужденно беседовали. Боб рассказывал о молодости Блаженного Августина, о городе Карфагене, — Париже тех веков, — куда со всех концов стекались талантливые юноши, жаждавшие подвига и любви. (Августина и Гегеля Боб считал ответственными за противоречия нашей культуры). Прайт критиковал местную архитектуру: величественность не достигается размерами, величественность в соотношении частей. И вдруг у Сабины вырвется:

— Если будет девочка, я ее назову Кларой.

Доктор Спарт пел старинные вальсы: что-то о Дунае и прочем. А Боб сокрушенно вздыхал: «Боже, помоги всем нуждающимся в Твоей помощи».

51. Куда негры ездят летом

Сабина плохо спала по ночам. Часу в пятом просыпалась: со всех сторон навалили мягкие тюки и душат. Долго лежала, прислушиваясь к жизни в себе. Звуки с улицы доносились измененные, приглушенные. Пахло гарью.

— Как можно это переносить? — тормошила она Боба. — Как можно жить?

— Да, почернеешь, оглохнешь и лишишься разума, быстро соглашался Кастэр. — Собственно, почему бы нам не уехать?

— Как?

— Ну на две недели, куда-нибудь. Все таки за городом легче немного.

— И ты поедешь?

— Да. Но куда?

— Да, но куда? — повторила Сабина и рассмеялась: в этой огромной стране трудно было найти подходящее место для отдыха, т. е. совершенно отличающееся, по условиям, от Нью-Йорка или Чикаго.

Утром Сабина позвонила в Таймс:

— Не можете ли вы мне сообщить куда негры ездят отдыхать летом?

— Вы имеете в виду штат Нью-Йорк?

— Да, по возможности близко от Нью-Йорка.

— Hold the wire.

Прошло несколько минут пока барышня снова отозвалась:

— Я не могу сейчас точно ответить на ваш вопрос, но, в общем, штат Нью-Йорк не знает расовых ограничений.

— Да, но нам не хотелось бы рисковать. Мой муж выглядит негром, а я выгляжу белой, — объяснила Сабина по привычке: в начале ей эта фраза казалась удивительно удачной.

Опять ее попросили подождать. Честная барышня побежала за дополнительной информацией или зарылась в учебные пособия.

— Алло, — слышалось: — На вашем месте я бы позво-

нила в редакцию одной из негритянских газет: они должны располагать нужными сведениями. Но, повторяю, как вам известно, в Нью-Йоркском штате нет расовых ограничений.

В черной газете Сабине ответили:

— Вы звоните по такому делу? Что это, провокация? Приезжайте лично в редакцию.

Сабина была в отчаянии (Бобу она ничего не сказала), но помог Прайт. Он сам заговорил об этом... Барбара Лотт имеет дом в изысканной местности на берегу океана. Прайту одному поселиться у дважды разведенной женщины неловко. Почему бы Сабине и Бобу не поехать с ними? Это всех устроит. Есть конечно, неудобства. Соседи не должны видеть негра, жильца. Боба надо спрятать или, еще лучше, выдавать за прислугу: повара. Бобу Кастэру предложение понравилось: он уморительно представлял все возможные смешные положения. Прайт умолял оказать ему личную, интимную услугу. И Сабина уступила.

Коттэдж Барбары находился в центре маленького аристократического городка. Участки земли в той местности продавались только англо-саксам, так что колония образовалась одноликая и приличная. В двух больших отелях сдавали номера и славянам, ирландцам, французам. Евреев, негров и итальянцев не допускали, (впрочем, итальянцев принимали под маркой французов, а южно-американцев под видом испанцев). Как они ухитрились разобраться в десятых долях крови клиента, трудно понять, но машина действовала безупречно, травка росла на манер английской, джентльмены играли в гольф, ходили в клуб, в церковь и на пляж, улицы содержались в отменной чистоте, лавочки продавали добротные товары и полицейским почти ничего не оставалось делать: порядок, благополучие, довольство, и все за статус кво. До чего просто: достаточно исключить несколько беспокойных народов и брать за обязательную кабинку у океана по 3 доллара с человека в день, чтобы убить в зародыше возможность преступлений и безобразных потуг. Божий Град легко построить, надо только отобрать граждан, сперва по расовому признаку, потом по бюджетному.

Конечно, Град этот будет весьма ограничен в пространстве.

И действительно, буквально в пяти минутах ходьбы от благоустроенного уголка (а в двух минутах — на автобусе), в обе стороны шоссеиной дороги, находились поселки, где евреи, южно-американцы, метисы и другие второстепенные нации, распоясанные, в обществе золотушной детворы, предавались на лоне природы, невинным играм: визжали, бегали, уплетали сосиски, пили коку-колу. Вход на муниципальный пляж стоил значительно дешевле. Американские лорды, обложенные с двух сторон разнузданным плебсом, стоически выдерживали нажим. Опасность им угрожавшая в военных сводках называется — infiltration. Но полиция легко вылавливала эту Пятую колону: не трудно отличить ребенка, за которого заплачено полтинник, от трех-долларового.

В этих дешевых селениях совершенно отсутствовала зелень: ни травы, ни цветов, ни деревьев. На других континентах представляют себе Америку краем изобилия, плодородной земли, мачтовых лесов. Может статься. Но по радиусу в тысячу километров вокруг Нью-Йорка нельзя найти тысячи деревьев с возрастом выше ста лет. Отсюда убожество запахов и красок.

Темные личности, детвора, пыль, грязный песок, неистовое, мутное небо, пляж, смахивающий на пустырь для отбросов... Стоило уезжать из Нью-Йорка!

Кастэру не нравилось это место, и особенно: люди. Скучные, плоские. Пестрый класс бедных в Америке действительно составляет низшую расу. Боб предпочел бы соседство богатых джентльменов: они похожи на бревна, но не давят, лежат рядом не задевая друг друга. Ему даже море здесь не нравилось: дикое, допотопное, несуразное. Сабине же запретили купаться и лежать на солнце.

Неподалеку, примерно в одной миле от берега, они обнаружили, в центре густого, дикого кустарника, маленькое озеро. Безлюдное: пробраться к нему было трудно и к тому же там водилась особая порода змей.

— Вот наша штаб-квартира, — решили, смеясь.

Боб и Сабина повадились уходить к озеру на целые дни. Из тростника он вырезал себе дудочку и лежа на спине наспи-

стывал песенку альпийских пастухов, печальную и простую как жизнь в горах; но здесь она звучала по иному. В мутном раскаленном небе, — солнца не видать, — медленно, медленно плыли еще более расплавленные темные массы: пары, газы. Противоположный берег, тусклый, изнывающий от жары, казался миражем; из фабричных труб поднимался, лениво, дым и врался в тяжелый водянистый воздух.

— Какая тут может быть живопись при этой оптике? — раздраженно удивлялся Боб: — И какая музыка при этой акустике? Земля, воздух, стихии, все убивает в человеке ряд способностей. Знаешь, здесь совсем другие законы преломления и тем самым перспективы.

— Здесь нет перспективы, — поддержала Сабина, домовито работая иглой и ножницами.

— Здесь вакуум перспективы... Нечто противоположное европейской: линии разбегаются в обратном направлении.

С разными предосторожностями, — стена ежевики, ковер «пойзон айви», затем топкий ил, — Боб ухитрился добраться к воде и поплыть. Змеи, черные, с круглой, тяжелой, — в кулачек, — головкой, сигали в непосредственной близости.

Однажды он поймал такого ужа и сунул в свой старый фотографический аппарат. Они ели сандвичи, приготовленные Собиной; лежали близко друг к другу; он задумчиво гладил ее ноги: подростка и в то же время женственные. Потом Кастэр играл на своей дудочке: знакомая песенка, несложная, как жизнь и смерть.

— Слушай, этот гад еще задохнется там, — вспомнила Сабина.

Боб осторожно приоткрыл фотографический аппарат, продолжая насвистывать. Змея медленно выглянула, затем, пляшуще раскачиваясь, изгибая свою шею, поползла, но не прочь, а в сторону Боба.

— Смотри, она заморожена свирелью, — взволнованно крикнула Сабина.

Действительно, одурманенная пленом или музыкой, змея кружила, раскачиваясь на брюхе, все насадая на Кастэра, за-

глядывая ему в лицо. Алый, острый язычок чертил ритмические круги. Змея на минуту застыла и снова начала приближаться: замороженно вползла на его живот, выше, обвила шею Боба, раскачиваясь над его головою, загадочно и покровительственно; она совершенно очевидно меняла скорость движений, направление, изгибы своего древнего отверженного тела, в прямой зависимости от музыки Боба Кастера.

Смеясь и восторгаясь, они бережно уложили змею в корзину от провизии и поспешили домой. Прайт и Барбара уже вернулись с пляжа — дорогого; глотали виски со льдом. К потолку веранды были подвешены на длинных цепях сетки с матрацами. Кавалер и дама раскачивались на этих постелях, явно довольные жизнью. Боба, Сабину и змею встретили аплодисментами. Кастер совершенствовался: избирал сложные позы, пускал змею по своей руке или ноге, заставляя ее проделывать определенные па в разных чередованиях.

— Вот, вот, вот, — кричал Прайт. — Довольно. Спрячьте гада и слушайте меня. Я вам все объясню. Выпейте виски. И слушайте, слушайте.

Боб повиновался.

— Вы знаете что такое «ракет», — начал торжественно Прайт. — Я пишу книгу под заглавием: «Философия ракет». Но теперь ограничусь следующим: эта змея ваш «ракет». Пейте виски и не прерывайте меня. — Прайт встал и вдохновенно простер руки. — Мы американцы не любим искусства, не желаем его, не знаем как за него приняться. Как воспитанные люди иногда притворяемся, но неохотно. Вот техника это другое дело. Даже в искусстве: skill, ремесло, мастерство, это мы понимаем и ценим. То, что можно увидеть, ощупать, подсчитать, за это мы платим деньги. Взять рисунок под лупу или микроскоп, увидеть что там тысяча штрихов: это skill! Отпечаток пальцев преступника, психоанализ, где выслеживают человека по снам, как замечательно: одновременно наука и фокус. Такое мы любим, понимаем. Но поэзия нам чужда и враждебна: чувствуем себя дураками и самолюбие страдает. Признанных гениев, Пруста, Пикассо, Ван Гога, мы покупаем: так принято и риска

никакого. Но современная Америка сама дать жизнь Артуру Рэмбо или Кафке, то-есть тайне вне разума, не в силах и, главное, не желает. Наш основной критерий: успех, и притом немедленный, земной. Пейте и молчите, — приговаривал Прайт; бутылка быстро опорожнялась. — Наши мудрецы, строящие государство, руководствуются еще одним соображением,—продолжал он, жадно отпивая из стакана. — Они считают: опасно размножать гениев. Из тысячи воришек, сутенеров, паразитов, один выходит, неожиданно, в люди. Не забывайте, что Гитлер был непризнанным художником. У нас нет легенды о неудачнике, *raté*. В Соединенных Штатах обратный культ: успеха. Каждый американец уверяет себя и других, что он *success* и прибавляет себе инч в росте. Надо располагать кадрами фантазеров, болтунов, бездельников, сидящих по кафэ, чтобы время от времени производить гения. Дорого и рискованно. А мы любим: *play safe* и гигиену. Дешевле предоставить все заботы Европе и покупать за сто тысяч готового гения. Пока существует Европа, это выход из положения. Но если она погибнет, вся система рухнет: мы останемся с джазом, с энциклопедическими словарями для подростков и с понятием ремесла, *skill*. Не обманывайте себя, Америка не молодая страна с примитивной культурой. Ложь: мы просто другие люди, другой земли. В нас что-то атрофировано, вытравлено, как у муравьев или пчел, и в этом мы идем навстречу коммунистическому раю. А наша жестокость, когда наступят сроки, побьет все признанные рекорды: поверьте мне и моему сексуальному опыту.

Боб хотел что-то сказать, но Прайт, повелительным жестом, остановил его:

— Пейте и слушайте, — казалось, он всю жизнь готовился к этому разговору. — Ну вот, представьте себе, вы замечательный певец. Что из того? И другие поют. Был уже Шаляпин. Нет, дайте неожиданное, новое. Вот певец, который ходил бы на руках по сцене: пусть поет даже немного хуже Шаляпина... это находка, «ракет». То-есть ставка на количество: соединение многих посредственных идей. Тут вы можете добиться признания и полного успеха. Мой друг, Эд Лесле, молодой, перво-

классный скрипач, умирал с голоду. Тогда он сел на велосипед, разъезжает по сцене и наигрывает серьезных композиторов. Сразу получил хороший контракт. Теперь он учится одновременно держать на переносице шест. Другой мой приятель, незаурядный пианист, не успевший прославиться в Европе, перевернул рояль вверх ногами, подлез под него и сыграл сонату Бетховена: теперь он дирижирует оркестром в Холливуде. Боб Кастэр, — медленно и торжественно произнес Прайт. — Я вас вижу в лучшем театре на Бродвее. Вы заклинатель змей: они пляшут под вашу дудочку, а потом вы рассказываете о готике Франции или живописи Испании. Нет, тему надо найти: удачная идея это «ракет». Во всяком случае высококультурный предмет. Но без поэзии или недоговоренности: ясно, четко и немного экстравагантно и мастерство, skill.

Бутылку благополучно доконали. Неожиданно явился безукоризненно одетый джентльмэн с лицом кастрата. Отрекомендовался: из real estate. Посидел, глотнул виски с содой, похвалил русских за героизм, неодобрительно отозвался о их форме правления: они могут голосовать только за одного кандидата. Потом он и Барбара удалились для делового разговора. Вскоре Барбара вернулась, смущенная и раздосадованная: соседи бунтуются, не желают негра; Боб не повар, это всем видно. Возмущенная поклялась: она завтра уезжает и ноги ее больше не будет в этом проклятом месте. Откупорили еще одну бутылку «Блэк энд Уайт». Улеглись поздно.

О змее забыли. А на утро обнаружилось: подохла, задохнулась, от недостатка воздуха или от потока сильных впечатлений. Барбара передумала: она еще останется на week-end, в конце концов, дом принадлежит ей. Прайт повез Сабину и Боба Кастэра в своей машине.

52. Роды

Нью-Йорк обдал их жаром, как раскаленная печь; вернулись под вечер. У подъезда дома к ним пристала черная кошка: жалобно мяукая, терлась у ног, силясь что-то внушить, вымолить. Сабина боялась кошек: «Они непостижимы, совсем другой

мир», — говорила. (Собак она не любила: слишком понятны, вполне человечны).

Но этого беспризорного зверя Сабина решила приютить. Заботливо его накормила молоком, приготовила коробку с краденым, на лестнице, противопожарным песком. Она всем телом чувствовала это новое существо в квартире, вздрагивая при малейшем его движении, храбрясь и посмеиваясь... Самое ужасное когда зверь пропадал, уходил под мебель: тогда опасность и предательство гнездились повсюду. (Сабина, одна, редко замиралась на ключ: помощь должна притти извне).

В понедельник Сабина затеяла генеральную чистку, возилась несколько больше обычного; потом легла отдыхать: кошка примостилась рядом, независимо и загадочно мурлыча, черная с зелеными косо разрезанными очами. Ей вдруг захотелось, — как в первые месяцы знакомства, — написать Бобу письмо. Осторожно, — не потревожить зверя! — достала карандаш и бумагу.

Она рассказывала Бобу о кошке: опыт, мысли, представления последней. Милая шутка: в действительности речь шла о ней, Сабине, доверчивой, любящей и нуждающейся теперь в любви.

Зазвонил телефон: Прайт сообщил — с Барбарой он окончательно порвал.

Возвращаясь к дивану, Сабина почувствовала мгновенную острую боль, все закружилось, померкло, отступило: далеко, далеко знакомый мир, цвет его, запах, звук, — за стенкой... И только шум в голове, в ушах, словно угрожающее мурлыканье кошки: где зверь, надо следить за ним.

Проковыляла в ванную: сомнения нет, кровь. Испугалась, похолодела вся: отмирают конечности. Проглотила облатку, — старую, доктора Спарта, — улеглась на постель, доверчиво поджидая людей, Боба, помощи.

Там ее и нашел Кастэр. Пока явился Спарт, пока нашли каретку скорой помощи, уже начало смеркаться. Ехали по шумному, летнему, безразличному городу. «Я не боюсь; я не боюсь»,

— шептала Сабина, слабо пожимая его руку. «Прочитай, прочитай». И Боб повторял вслух строки ее письма, о «кошке».

Кастэр мысленно часто представлял себе эту поездку, готовился к ней. Ночь, такси, Сабина стонет, он ее ободряет, и у обоих на лице улыбка: одно дело вырвать зуб, (невозвратимая потеря), другое дело рожать в боли новый мир.

И вот она, действительность. Сабина лежала бледная и чересчур красивая. Она не вполне отдавала себе отчет в происходящем, говорить ей было трудно, глаза смежались: поднять веки, — тоже усилие. Она мужественно, вопросительно улыбалась, напоминала кролика, барашка или другого безобидного, кроткого зверька, добровольно идущего на жертвенный подвиг.

На ярко освещенный подъезд выбежала сестра, санитары. Доктор Спарт, злой и лохматый, ждал их внизу. Бобу показалось: все пристыжены, чувствуют себя виноватыми. Это ему не понравилось. «Господи, Господи». Мастер по наркозам осведомился сколько весит Сабина.

— Я ничего не боюсь, — сказал Спарт. — В этом месяце даже placenta proevia не страшна. Я делаю кесарево сечение: мать будет жить, ребенок должен жить. Но почему вы сразу не дали знать? Четыре часа бесполезного кровотечения.

Туалет, уколы, определение группы крови, заняли еще час. Наконец, Сабину уложили на возок и Боб зашагал у ее изголовья.

— А-а-ау-о, — прошептала Сабина. Он не разобрал. Полагая, что она ждет поощрения, он торопливо застучал:

— Милый, милый, дорогой, единственный, первозванный бобрик.

А Сабина пыталась объяснить: ей вприснули морфий и теперь она не в состоянии думать, соображать. Хотела его предупредить об этом: пусть охраняет ее, все решает сам, она любит и верит.

— Э-а-и-о-о, — невнятно прошептала и тихонько (как во сне), засмеялась: Э-о-э-а.

И Боб догадался, по знакомой улыбке, по лукавому взгля-

ду: *personne ne sera pendu au bord!* Они когда-то вместе смотрели фильм из жизни пиратов. Там боцман, старый пьяница, убийца, в критические минуты утешал экипаж судна этой фразой... Боб и Сабина часто, в трудных положениях, повторяли ее и весело смеялись: на корабле потом все были повешены.

Боб склонился и деловито поцеловал ее в лоб (рядом облезлая, крашеная ирландка, сестра). Сабина лежала подоткнутая простыней; голова ее была туго обвязана марлей; маленькое, похудевшее сияющее личико и темные, доверчивые, детские глаза.

Каэтра не пустили в операционную. Сел на белый табурет терпеливо застыл в углу, как школьник, дожидаящийся вызова на экзамен, как рабочий, пришедший наниматься. В окно просачивалась летняя улица и ночь: трохот, угарные пары, всплески смеха, освещенные окна противоположных домов... Там матери учили детей вечерним молитвам, мужья подводили счет дневным соблазнам, влюбленные звонили по телефону, целовались, скучали. Город, трехмерный и плоский, ворочался в условном ложе.

Квадраты линолеума, жар от стен, тусклый свет ламп, темный край неба, запах больницы, голос сестры, ее шаги и стоны лифта... Вот это сочетание Боб запомнит на всю жизнь: тени, цветок в горшке, телефон на столе (закляканный бювар, похожий на географическую карту). Связан уже навсегда. Никогда уже не удастся отделаться: будет сопровождать его до последнего часа. До сих пор он кажется еще не принимал участия в столь значительных событиях. Только в день собственного рождения (и, пожалуй, в час смерти?). А ведь просто и почти незаметно сложилось: толкала внешняя сила. Доступно гениям и холуям, добрым и скотам, нищим и богатым. Бобу мнилось: подъезжает к новой стране, к другому континенту, — очертания незнакомых берегов. Он был уверен и спокоен (только трудно усидеть на одном месте). Встал и прошелся по диагонали. Пробовал молиться, но не выходило. Доставал папиросу, совал ее в рот и, берясь за спичку, вспоминал: курить запрещено.

Но когда Боб Кастэр увидел «донора», — для переливания крови, — он вдруг всполошился.

«Донор» вошел быстрой походкой, воровски оглянулся и, поклонившись, лицемерно скромно опустился на край стула. Низкорослый, широкоплечий, с толстой шеей и багровым лицом, похожий и на бизона и на вепря.

— Вы даете кровь? — вкрадчиво осведомился Боб.

— Да, меня прислало агентство. Вот моя карточка.

— Вы много лет уже... практикуете?

— Семь лет, — ответил тот, скромно потупившись. — В первый раз я дал кровь своему другу и спас этим жизнь человеку. Потом я несколько раз давал знакомым, конечно бесплатно. — (Боб понимающе кивнул головою). — И вот мне доктор сказал: почему бы вам не зарегистрироваться у нас? Вы людям поможете и сами подработаете малость. Я служу в транспортной конторе. Моя группа довольно редкая: АБ.

Все, что говорил этот человек, его тон, ужимки, трусливая важность, фальшивое смущение, напомнили Бобу Париж, проституток, их заученные рассказы-исповеди, за стойкой в кафе. И там начало: любовь, бескорыстная дружба, потом втягиваются, зарабатывают, у каждой вымышленный ребенок, дочка.

«Вот, на наших глазах рождается новая профессия, подобная проституции, — с ужасом думал Кастэр. — Кадры вербуются главным образом из мужчин: продают свою кровь. Разврат и мистика: проникновение одного во многих. Мудрецы 21-го века будут издеваться. После грубого, поверхностного анализа решают: кровь годится». Боб вдруг вспомнил сына Магды, его первую стрижку: «Богатый ее опытом, я знаю как ценно то, что я знаю и чувствую».

— Сколько вы получаете? — спросил.

— По тарифу. 35 долларов за 500 кубических сантиметров.

«Нет, Сабина. Прочь лень, трусость и косность!» — Боб шагнул к дверям операционной.

— Боже, Боже, мальчик, — встретила его Магда, изнеможенно улыбаясь. — Совсем белый.

Он не сразу сообразил о чем речь.

--- Это иногда бывает, с метисами, — сказала сестра, набожная католичка. — Но они погом темнеют.

--- Я не хочу переливания крови! — крикнул Боб доктору Спарту.

Спарт оглянулся. Потное, счастливое лицо мастера, артиста. Подумав, ответил:

--- Хорошо, обойдемся без, -- и внимательно посмотрел на Кастэра, словно проверяя, так ли он его понял. Затем снова углубился в работу. Молодой врач зашивал уже покровы живота. Спарт помогал ему, приговаривая: — *Skin, fascia, fascia, skin*, -- отлично, -- щелкал ножницами и опять: — *skin, fascia, fascia. skin*.

53. Кулачки

Сабина покоилась на столе еще одурманенная. Одна рука ее была привязана к деревянной доске: из высоко подвешенной банки капал в вену физиологический раствор. Кругом: нагромождение вещей, аппаратов, пол усеян окровавленным бельем. Операционная напоминала поле битвы: когда захваченные врасплох солдаты дерутся в условиях, генеральным штабом не предвиденных.

Сбоку, старенькая сиделка возилась над тяжелым, сморщенным комком: сын, их сын. Он еще не дышал и сиделка давала ему кислород, трубкою выкачивала из его трахеи слизь.

-- Как ребенок? — спросил Спарт. — Он должен жить..

Сиделка неодобрительно покачала головою. Подошла рыжая сестра со шприцем, вприснула что-то в плечико младенца. Это потрясло Боба.

Паренек выглядел здоровым, даже чересчур: широкогрудый, широкоплечий, слегка похожий на «донора», дожидавшегося в приемной. Крепко сжатые кулачки и весь вид его свидетельствовал о трезвом отношении к жизни: до сих пор приходилось туго, необходимо кулаками прокладывать себе дорогу, а теперь и подавно.

«Надеется только на себя. Без веры, — подумал Кастэр. — Если бы он согласился разжать кулачки». Еще минута и эта,

чудом вырванная из небытия, жизнь уйдет навсегда, распадется. Сердце Боба возмущенно стучало: здесь попирают Святой Дух. Грубо схватив руки новорожденного, яростно начал их тискать, стараясь разжать. Ладочки приоткрылись, — совсем, — совсем как у людей, только крохотные. Ребенок икнул и жалобно заплакал, улыбаясь хитро и тщедушно.

Услышала ли Сабина или только ощутила, но, потянувшись головою в ту сторону, она зашептала слабым, рыдающим и восхищенным голосом:

— *My baby, this is my baby, this is my baby.*

Боб склонился над нею, изнемогая от разных противоположных чувств: восторга, страха, торжества и смертной истомы. Сабина удовлетворенно смежила веки.

— Все будет отлично, — доносились слова Спарта: он накладывал перевязку.

Боб смотрел на прекрасное, неземное, обескровленное, могучее в своей спокойной правоте, лицо Сабины. Такого мудрого, доброго, законченного, — как стрела, попавшая в цель, — облика он еще не встречал: даже не предполагал возможным.

— Да, задумчиво согласился он: — Все будет чудесно.

Как же иначе?... Все совершенно, мудро, осмыслено. Довольно, не надо больше сомнений, споров.

«Не только будет хорошо, но уже, уже хорошо», — решил и сразу забеспокоился: слишком она красива и сияет. Лучше бы Сабина сморщилась, застонала: это ближе к земле, устойчивее.

— Господа, помогите, мы ее сразу отвезем в комнату, — сказал доктор Спарт.

Он собирался временно оставить ее, — быть может на всю ночь, — в операционной: не тревожить. Но, упоенный победою, вдруг принял другое решение. Так он действовал в молодости: грубовато, нахрапом, заражая окружающих своею энергией.

Несколько человек, — и Магда, и Боб, — заматались. Сабину легко перекинули на возок, укрыли и осторожно поддерживая ее руку, — в которую все еще капал раствор, — двинулись вперед, неловко теснясь в дверях, на поворотах узкого корридора, у лифта.

Для всех не хватило места в лифте. Поднявшись на кончики пальцев Кастэр еще раз посмотрел на Сабину: серьезное, проникновенное лицо, а улыбается — кожею.

54. Кулачки (продолжение)

Проводив сиделку с ребенком в палату для новорожденных, Боб Кастэр закурил папиросу и, не дожидаясь лифта, медленно спустился по лестнице на 6-ой этаж. Там его настигла рыжая сестра: он ее с трудом узнал, — до того изменилась, поблекла, пожелтела. Махнула рукою:

— Идите, идите скорее!

Боб, чуя беду, побежал за нею. В маленькой, свежее отремонтированной, комнате было тесно и людно. Спарт массировал руками сердце Сабины: грубо мял ее грудь. Другой доктор старался попасть иглою в вену. Сестра хлопотала у ног Сабины, сиделка поправляла кишку от банки с физиологическим раствором.

— Иисусе, Иисусе, — ожесточенно шептала ирландка, подталкивая вперед Боба.

Магда стояла у окна, — стянутые волосы, вороньего крыла, острые черты пепельного личика, — торжественная и покорная.

— Что происходит? — строго спросил Кастэр. Все расступились, давая ему место у изголовья. — Вы не видите, она умирает, — гневно сказал он.

Сабина лежала, неловко повернув лицо, кротко, виновато улыбаясь губами, словно говоря: «Глядите все. Я была создана для любви, для ласки, для ответной ласки, для подарков. Я знала, что рано умру и судить меня по общей мерке грешно. Смотрите: вот это я. Делала много зла, но никогда не желала худого. В сущности, я любила только хорошее и желала видеть людей счастливыми. Я не умею спорить. Но, пожалуйста, пожалуйста, please, s'il vous plait, bitte... ”

Белые халаты, тени, приборы, свет окна в ночь, беспомощные голоса, это походило на фантастический сон, тем ужаснее, чем больше разумных мелочей в него вкраплено.

— Сабина, — крикнул Боб, — ты слышишь?

Спарт что-то впрыскивал под самое сердце Сабины. Кастэр закрыл лицо руками. Очнулся он от странного звука голосов. Открыл глаза: кругом что-то изменилось, вернулось к привычному и света будто прибавилось.

Сабина шевелилась: ее зеленое, уродливо-сморщенное лицо подергивалось, рот был широко раскрыт... Ее рвало, желтая ирландка поддерживала тяжелую и мокрую голову Сабины.

— Плазма готова? — приказал Спарт, голосом капитана, чье судно возвращается, после опасного рейса, к родным берегам.

И Боб заплакал. «Он старик, ему давно пора спать, — лепетал он, блаженно всхлипывая, — Боже вой, Боже мой». И тотчас же вышел из комнаты, словно повинуюсь неведомому зову. Его потянуло вниз, на улицу.

55. Осанна

Был третий час ночи. Летний, оглушенный, переваривающий углекислые газы, Нью-Йорк. Всего 6 часов тому назад Боб ехал в машине: держал руку Сабины. А днем он работал; встретил Колюса из отдела здравоохранения... Сегодня или в 19-ом веке?

«А теперь что? — с недоумением спрашивал Кастэр. — Что дальше? Пить виски? Молиться? Сдаться? Жить как все. Семья. От жалованья к жалованию. Бороться за банковский счет: security на этой земле. Примириться... Черный, на чужом месте, не оправдал надежд. Читать газету, ходить в синагогу и в церковь. Господи, неужели Ты этого хочешь? Я не против Тебя восстаю, а против всей жизни нас распинающей, от которой и Ты пострадал. Я слеп, наг и немощен — (другие препоясали тебя), — даже собственную кожу потерял. Как прозреть? Куда идти? Как быть самим собою, то-есть верным Тебе чадом? Сделать усилие, стиснуть душу и зубы? Что делать? Я почернел, а впереди смерть... Господи, иногда и я Тебя распинал, но по неведению. Вот я стою глухо-немой, укажи путь, пусть не сразу, но приоткрой завесу. Меня толкают уступить: не Тебе, а жизни. Мне в глотку вложили крик: проклятие, Ты этого хотел

и я буду как остальные. Но я умный и злой, я говорю: осанна, осанна, осанна. И еще заявляю: Я торжественно клянусь, — сказал Боб Кастэр внятным шопотом; он стоял прислонившись к фонарю. — Я клянусь всегда служить нищим, сиротам и немощным. Клянусь защищать слабых и отверженных, клянусь всю жизнь связать с побежденными и страдающими...»

Ему показалось: яркая молния внезапно полоснула его глаза... Судорожно закрыл лицо руками, ошеломленный, дрожа мелкой дрожью; осторожно переводил дыхание, прислушиваясь к жаркому рокоту в ушах, в крови. Кто-то тронул Боба за плечо: рядом стоял человек в белой рубашке и светлых брюках.

— Что случилось? — сразу опомнился Кастэр (подумал: санитар из клиники).

— Вы не припоминаете меня? — сказала белая рубашка.

— Нет. Хотя, — начал Боб, разглядывая незнакомца. — Как будто...

— Я Артур Фрезер, я привел вас на собрание черно-белых в парикмахерскую.

— Ах, как же, как же, — радостно и в то же время разочарованно отозвался Кастэр. — Но позвольте, позвольте, что это... Вы тогда были негром. Неужели? — шопотом спросил он.

Фрезер самодовольно кивнул головою и хихикнул.

— Скорее, Господь с вами, разве вы не понимаете что это значит для меня? — Боб яростно вцепился в горло своего собеседника.

— Ужасно просто, — зашепел тот. — Даже рассказывать нечего. Я поступил матросом на грузовое судно. Побывал в Англии, в России. Вот и все. Доктор говорит: от перемены климата, пищи, вообще обстановки.

— Нет, нет... — начал Кастэр и вдруг сел на тротуар: безудержный хохот потряс его до основания.

— Я им доложил про это в парикмахерской, — застенчиво и тоже посмеиваясь, продолжал Фрезер. — Но они боятся: у них машины, чтобы стирать белье, ледники, ваннные комнаты, наконец, дети.

— Конечно, конечно, — заливался Боб и неожиданно под-

нявшись, бегом бросился к подъезду клиники. — Я вас еще увижу! — крикнул озадаченному Фрезеру.

56. Эпилог

Вечером, улицы, прилегающие к Madison Square, были, как всегда по субботам, запружены толпою. Война давно кончилась, герои вернулись по домам, трудящиеся располагали свободным временем, и все жаждали развлечения. На этот раз, не цирк, не зверинец и не состязание атлетов, привлекали горожан — а проповедь славного учителя, чудотворца, основателя церкви «Великих Детей».

Наслушавшись и начитавшись рассказов о новоявленном пророке, старики, больные, чахлые девы и подростки разных каст и рас, стремились поглазеть на мудреца, прикоснуться к его одеждам, уверовать и исцелиться.

Во главе секты стоял некто Роберт Кастэр, белолицый, седеющий уже мужчина, атлетической внешности, утверждавший, что его, блондина из арийской семьи, Бог, на несколько лет, превратил в негра... За грехи против Св. Духа его отметил Господь и, наказав формой проказы, преобразил в черного, дабы, покаявшись, он мог прославить Иисуса Христа и положить основание царству Св. Троицы на земле... После чего он исцелился.

Особенность новой секты, повидимому, заключалась в том, что они создавали кочующие общества: все двигались на колесах, на кораблях. Оседлый образ жизни воспринимался как грех.

Корабли «Великих Детей» представляли из себя университеты, заводы, больницы, детские сады, художественные мастерские, поэтические школы, театры, издательства. Корабли плывут, под парусами, под паром (творческий труд и досуг тесно переплетены). Все несут личную ответственность. Преступников наказывают сами обиженные; кто хочет мяса должен сам зарезать и освежевать теленка или свинью. Фрукты и овощи взращиваются с песнями и молитвами. Отец Кастэр проклял ихе vox и запретил им пользоваться, под страхом атрофии обонятельного нерва (за что его привлекли к судебной ответственности фабриканты консервов, холодильников и витаминов).

Очевидцы передавали о нередких случаях чудесного исцеления и даже преображения. Дети, больные параличем, начинали двигаться своими пораженными конечностями; несколько чернокожих побелело; купцы, банкиры, чиновники, вдруг открывали в себе подлинные дарования: писателя, скульптора, теоретика, ученого... и создали ценные произведения, освобождаясь постепенно от своих хронических недугов (нефрита, грудной жабы, склероза, ревматизма, экземы). Сообщали еще о хлыстовских радениях, когда голые «Дети» плясали до одурения, целуя друг друга какие-то отличительные знаки.

Что правда, что ложь, в этих сумбурных баснях, трудно было разобрать. В больших городах секта еще не пользовалась большим успехом (выступление в Madison Garden было, кажется, единственным); брошюры, листки «Великих Детей» казались противоречивыми. А в летнее время газеты нуждались в ходком материале... Вот почему на религиозный митинг хлынуло такое множество журналистов — даже представители крупнейших органов общественной мысли.

Исполнинский, переполненный зал был убран флажками (на голубом поле, белый голубь несет во рту зеленую ветвь). Собрание открылось пением гимна, где часто повторялось слово Дарданеллы. Потом говорил о. Кастэр. Он подробно описал свое прошлое, а также сообщил биографии ближайших друзей, — Сабины, Магды, доктора Спарта, Прайта, Артура Фрезера, — сидевших полукругом на эстраде. В этом ярком, реалистическом, почти бесстыдном рассказе, глава секты проявил несомненное литературное дарование, богатую фантазию и глубокую психологическую хватку. «Покайтесь, иначе с вами случится еще худшее. Читайте Отца своего в собственном образе и не оскверняйте Святого Духа в себе и в себе подобных. Будьте самими собою, верными себе и Богу вас сотворившему. На этих сваях стройте подлинную культуру. Тогда не будет войн, болезней, старости и смерти. Выбросьте психоанализ и витамины, веруйте в Иисуса Христа, первого Богочеловека».

Ребенок рождается преисполненный элементов святости, гениальности, подвига; только постепенно, благодаря воспита-

нию, дрессировке и условностям нашей жизни, подросток меняется, теряя драгоценную сукровицу, и превращается в среднего обывателя: потом заболевает и умирает (от сознания невыполненного назначения, искаженного образа Божия). Если придерживаться своего подлинного я, то осуществится природная божественность. Бог не любит среднего обывателя: Он его не сотворил. Это мы его искусственно создаем. Все люди должны проникнуться этим сознанием и соответствующе надлежит организовать общество, в большом и малом. Если государство воодушевится идеей существования личности, как единственным оправданием своей деятельности, то Царство Божие немедленно придет. Так говорил о. Кастэр. Особенность каждой личности в том, что она неповторима; благодаря этой, присущей всем черте, содружество личностей не только возможно, но неизбежно. Однако, условия цивилизации оседлых муравейников давят на личность, лишая ее внутренней свободы, то-есть своего природного состояния. Если один гад говорит да, а другой отвечает нет — и оба оскопляют душу человека — то слепые и безумные могут верить, что в синтезе мы обречем свободу. Надо создавать новое общество и новые взаимоотношения, чуждые собственническим, оседлым инстинктам. «Теперь вам надлежит решить, и быть может уже поздно, сыну ли божиему жить на земле или муравью и роботу».

Грехи тоже претерпевают эволюцию. Из свидетельств древних святых видно, с каким трудом они преодолевали чревоугодие. Это нам уже почти непонятно и дается сравнительно легко. Похоть, кажется, тоже отходит на второй план: в Евангелии на этот счет имеются противоречивые замечания. Но в Евангелии совершенно недвусмысленно и дважды сказано, что есть грех, который фактически закрывает человеку путь в Царство Божие: богатство, деньги, эксплуатация. И две тысячи лет на этот грех почти не обращали внимания: двоеженца изгоняли из церкви, а хозяина многих рабов, жертвующего десять процентов на бедных, с почетом принимали.

Основной, главный грех нашего времени, омерзительный Святому Духу, это эксплуатация человека человеком. Смертный

грех равный, по меньшей мере, прелюбодеянию. И не будет христианства, если оно его не преодолет. Кочующие общества помогают установить новые классовые, семейные и социальные взаимоотношения...

Затем о. Кастэр играл на дудочке и дюжина змей танцевала под его музыку на эстраде. Дети, в лицах, представляли видение пророка Исаи: выступали рядом с дрессированным львом и медведем, ведя на привязи тельца и козу. Пели гимны, народ плакал. Прайт произвел сбор добровольных пожертвований на новый корабль, имени Венделя Вилки.

И опять о. Кастэр громил непосвященных: «Образумьтесь. Пробил час давно. Вот кончилась война, и уже новая готовится. Величайшее добро — атомная энергия — приводит вас в ужас. Огонь, огонь кругом. Даже Божья благодать не идет вам впрок. Поверните. Шагните в сторону. Прыгните в себя — как блудные сыны — в собственный образ и, тем самым, служите Богу и людям. Теперь надлежит вам решить: гибель или спасение нашему миру. Откажитесь от капиталистического и коммунистического муравейника. Индивидуальное эгоистично и разъединяет; коллектив механически склеивает. Только бессмертная, неповторимая личность находит себя в любовном служении близким».

Отдельные группы присоединялись к новой церкви; с ними что-то делали, быстро, отчетливо благославляли, посвящая в члены секты. Многие плакали.

После собрания, стая журналистов проникла за кулисы — где пахло хищными зверями, потом лошадей и акробатов, гримом клоунов.

Прайт важно беседовал с корреспондентами влиятельных газет, пространно осведомляя их. Сабина, Магда, ребятишки, доктор Спарт, смущенно позировали фотографам. Боб Кастэр, — рост 6,1, вес 185, — курил трубку, отгоняя густыми клубами дыма обступивших его репортеров; вежливо отвечал на вопросы, часто добавляя: — Я ведь это уже объяснил.

— Верно ли, что вы сперва превратились в негра, а потом

снова стали белым, и как это произошло? — наперебой спрашивали журналисты.

— Совершенно точно. Я уплыл на корабле, побывал в Европе, в Азии, и выздоровел. То же самое испытывать мы предлагаем вам. Имена свидетелей и их адреса указаны в нашей литературе, — повторял Боб Кастэр на все лады.

— Верно ли, что ребенок родился белым?

— Верно ли, что Сабина продолжает вас любить?

— Вы лечите от рака?

— Я левша, можете вы меня преобразить?

— У моей жены растут усы...

— Как похудеть?

— Зачем вы собираете деньги, если вы против частной собственности и эксплуатации?

Не было возможности отвечать на все вопросы; развеселившиеся журналисты, кажется, этого и не ждали.

— Деньги нам нужны для постройки кораблей, — откликнулся Прайт и начал выпроваживать назойливых гостей.

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

КОЛЕСО, повесть (Новые писатели, 1930)

МИР, роман (Парабола, 1931)

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ, повесть (Парижское объединение писателей, 1934).

ПОРТАТИВНОЕ БЕССМЕРТИЕ, роман (Издательство имени Чехова, 1953)

ЧЕЛЮСТЬ ЭМИГРАНТА (изд. Диалог, 1957)

ГОТОВО К ПЕЧАТИ:

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

ЗАЛОЖНИК, роман

ПО ТУ СТОРОНУ ВРЕМЕНИ, роман

КИМВАЛ БРЯЦАЮЩИЙ, роман и

ЕРЕСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, роман

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ, Книга памяти

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ПО-АНГЛИЙСКИ

NO MAN'S TIME, a novel, introduction by W. H. Auden, Weybright & Talley, N. Y.

OF LIGHT AND SOUNDING BRASS, a novel, Vanguard Press, N.Y.

THE DARK FIELDS OF VENUS, a doctor's logbook, Harcourt, Brace, Jovanovich, N.Y.

THE GREAT TRANSFER, a novel, Harcourt, Brace, Jovanovich, N.Y.

MEDICINE, SCIENCE AND LIFE, Paulist Press, N.Y.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"

Алексей РЕМИЗОВ. Кукха. Розановы письма

Константин ВАГИНОВ. Козлиная песнь.

Константин ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова

Василий АКСЕНОВ. Затоваренная бочкотара. Рандеву.

Александр ЧАЯНОВ. Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии

Сергей ДОВЛАТОВ. Компромисс

Альманах „Часть речи“.

Михаил БУЛГАКОВ. Записки на манжетах.

Николай ОЛЕЙНИКОВ. Иронические стихи

Венедикт ЕРОФЕЕВ. Глазами эксцентрика

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Мое завещание

Аполлинария СУСЛОВА. Годы близости в Достоевском

Маркиз де КЮСТИН. Записки о России

Василий ЯНОВСКИЙ. Американский опыт

Владислав ХОДАСЕВИЧ. Белый коридор, воспоминания

Владислав ХОДАСЕВИЧ. Колеблемый треножник, статьи

Яков ГОЛОСОВКЕР. Достоевский и Кант

Андрей ПЛАТОНОВ. Впрок

Михаил БАХТИН. Формальный метод в литературоведении

Михаил БАХТИН. Фрейдизм

Михаил ГЕРШЕНЗОН. Судьбы еврейского народа

Даниил ХАРМС. Из дома вышел человек

Леонид ДОБЫЧИН. Встречи с Лиз

Андрей НИКОЛЕВ. Елисейские радости

Марк СЛОНИМ. Марина Цветаева в Праге и в Париже

Б. ФОНДАН. Разговоры с Шестовым

SILVER AGE PUBLISHING

P. O. Box. 384 Rego Park, N.Y. 11374